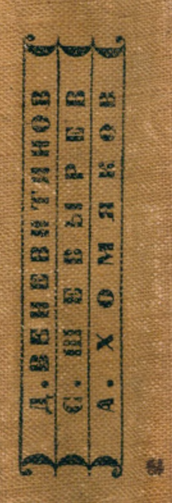




Д. ВЕНЕВИТИНОВ

С. ШЕВЫРЕВ

А. ХОМЯКОВ



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
малая серия № 21

Д. ВЕНЕВИТИНОВ
С. ШЕВЫРЕВ
А. ХОМЯКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

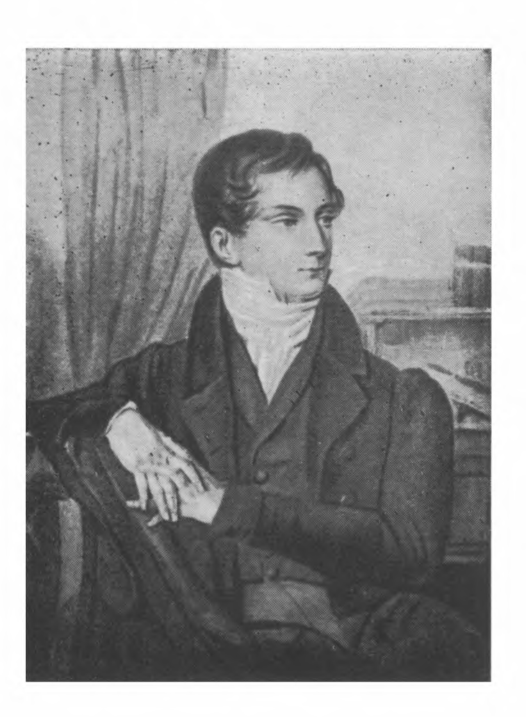
Статьи,
редакция и примечания
И. Аронсона и И. Сергиевского

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1937

B 29



Д. ВЕНЕВИТИНОВ



1

Дмитрий Владимирович Веневитинов родился в Москве 14 сентября 1805 года в родовитой и богатой дворянской семье. Первоначальное воспитание получил он дома, под руководством француза Дорера, знатока римской и французской литературы, грека Байло, познакомившего его с древнегреческой поэзией, и немца Христиана Ивановича Герке, открывшего перед ним мир немецкого романтизма. Таким образом характер домашнего образования Веневитинова был преимущественно литературный. Он познакомился с античной и современной западноевропейской литературой, главным образом немецкой, сквозь призму которой доходили до него и величайшие образцы английской литературы (например, Шекспир в переводах братьев Шлегелей и Тика). Кроме литературы, он занимался живописью и музыкой.

С 1822 по 1824 год Веневитинов посещает лекции профессоров Московского университета как вольнослушатель, не связывая себя определенной учебной программой. В это время кафедру «российского красно-

речия, стихотворства и языка» в университете занимал А. Ф. Мерзляков, поэт и теоретик классицизма.

На лекциях Мерзлякова, особенно на его «педагогических беседах», открытых для всех желающих, Веневитинов сблизился со многими другими учениками Мерзлякова, начинающими писателями и поэтами: бр. Киреевскими, Н. М. Рожалиным, бр. Хомяковыми, В. Ф. Одоевским, А. И. Кошелевым, С. П. Шевыревым и др.

Теоретическая отсталость Мерзлякова здесь впервые вызывает открытые возражения молодежи, позднее выявившиеся в целом ряде статей против него (в «Мнемозине» и «Московском Вестнике»). В 1825 году Веневитинов выступил против Мерзлякова со специальной статьей («Разбор рассуждения г. Мерзлякова «О начале и духе древней трагедии»).

Молодые дворянские интеллигенты, группировавшиеся вокруг Веневитинова, держались независимо по отношению к властям и не одобряли политики правительства. Однако их недовольство имело характер аристократической оппозиции, и это приводило к пассивности самого их протеста, к стремлению облечь его в формы отвлеченные, «идеальные», романтические с налетом мистицизма. Они увлекаются немецкой идеалистической философией, в особенности Шеллингом. Учение о божественности вдохновения художника, возно-

сящего его над низменной жизнью обывателей, произвело сильное впечатление на юных поэтов, музыкантов, философов из Московского университета, стремившихся уйти — хотя бы в мир мечты — от презираемой ими действительности. Веневитинов и его друзья перенесли свою неудовлетворенность социальной обстановкой в область «чистого» умозрения, опираясь в своих построениях на философию немецкого романтического идеализма. В это время возникает кружок, группировавшийся вокруг журнала «Мнемозина», и другой — более узкий кружок, известный в истории литературы под именем «кружка любомудрия» (философии). Здесь вокруг Веневитинова и В. Ф. Одоевского объединяются Н. М. Рожалин, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев и Ал. С. Норов, здесь читаются философские сочинения, но чаще всего обсуждаются произведения немецких философов — Канта, Фихте, особенно Шеллинга и др. В этом кружке Веневитинов играет выдающуюся, едва ли не ведущую роль. Он «более всех говорил», как отмечает один современник. Его прозаические отрывки «Анаксагор», «Скульптура, живопись и музыка», «Утро, полдень, вечер и ночь» были написаны, повидимому, для чтения в этом кружке.

Кошелев пишет о характере философских интересов любомудров. «Христианское учение казалось нам пригодным только

для народных масс, а не для любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний».

В философии Шеллинга Веневитинов и его товарищи находили обоснование новой теории литературы. «Почувствовав всю беспечность суждений, основанных на одних частных наблюдениях, — писали о Веневитинове его друзья в предисловии к посмертному изданию его сочинений, — он ревностно стал изучать критиков немецких и с жаром принялся за ту науку, которой цель есть познание нас самих и которая, стремясь все привести к единству, имеет ныне видимое влияние на все отрасли знаний». В философских работах Веневитинова легко заметить тесную связь с романтизмом. Анаксагор Веневитинова очень мало похож на исторического мудреца из Клазомены, он даже вовсе не грек, он немецкий романтик, размышляющий в стиле ваккенродеровских героев о способности людей «мучить себя игрою воображения». Шеллингианские понятия у Веневитинова оказываются тесно связанными с проблемами литературной теории. Он говорит не о субъекте и объекте познания, а о принципах литературного изображения.

В 1824 году Веневитинов сдает университетские экзамены и поступает на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел. Здесь мы встречаем все тот же

круг литературной московской молодежи — И. В. Киреевского, В. П. Титова, С. П. Шевырева, Н. А. Мельгунова, С. Мальцова, С. А. Соболевского и др. Служба в архиве, заключавшаяся в составлении описи древнерусских рукописей, не занимала много времени. Молодые люди приходили на службу два раза в неделю и занимались там, главным образом, беседами на интересующие их темы. Архив прослыл сборищем блестящей московской молодежи. Это и были те «архивные юноши», которые были отмечены современными писателями, в том числе Пушкиным (Евгений Онегин), при изображении московского светского общества, как необходимая его принадлежность.

В конце 1824 года в Москву приехала кн З. А. Волконская, салон которой сделался средоточием всего наиболее образованного, наиболее талантливого в литературе и искусстве. «Тут соединялись представители большого света, — вспоминал о нем П. А. Вяземский, — сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты...» Любомудры были постоянными посетителями этого салона; Веневитинов безнадежно влюбился в его хозяйку и посвятил ей целый ряд стихо-

творений («Элегия», «Италия», «К моей богине» и др.).

Литературные и философские интересы Веневитинова в декабре 1824 года получили под влиянием К. Ф. Рылеева новое направление.

На одном вечере у М. М. Нарышкина Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие декабристы свободно говорили о необходимости политического переворота в России; их речи произвели огромное впечатление на А. И. Кошелева, присутствовавшего на этом вечере. Кошелев поставил вопрос о политическом положении перед остальными любомудрами — Веневитиновым, Киреевским, Рожалиным. «Много мы в этот день толковали о политике, — вспоминает он, — и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана». У Веневитинова начинают звучать политические ноты — в «Смерти Байрона», в «Песне Грека», в прозаическом отрывке «Европа», переведенном из Герена, позднее в «Новгороде» особенно полно и ярко. Известие о разгроме декабристов на Сенатской площади производит на любомудров «потрясающее впечатление», они были «крайне взволнованы» и принесли

присягу Николаю I — под усиленным военным караулом, снабженным боевыми патронами; В. Ф. Одоевский в присутствии других любомудров, из боязни полицейских репрессий, сжег все протоколы кружка.

В условиях торжествующей реакции эти околодекабристские настроения у любомудров постепенно эволюционировали к идеологии раннего славянофильства, а впоследствии у некоторых из них — к откровенно-реакционной позиции официальной народности.

В сентябре 1826 года в Москву из ссылки приехал Пушкин, дальний родственник Веневитинова. Пушкин сблизился с философствующей молодежью и принял ближайшее участие в издании журнала «Московский Вестник».

«Московский Вестник» в 1827 и 1828 годах был органом всего кружка любомудров, назначавшего редактору М. П. Погодину своего «соредактора» (первоначально Н. М. Рожалина, затем С. П. Шевырева). В начале 1829 года, с отъездом С. П. Шевырева в Италию, журнал целиком перешел в руки М. П. Погодина, и участие любомудров и Пушкина в нем значительно ослабело. Веневитинов принимал живейшее участие в организации журнала и в первых его книжках, стремясь превратить его в орган, посвященный разработке и пропаганде новой эстетики и теории литературы.

Его отношение к задачам журнала любомудров нашло выражение в статье «Несколько мыслей в план журнала». В этой статье Веневитинов, нападая на эстетику французского классицизма, излагает свою концепцию подлинного искусства: «Истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения. У нас язык Поэзии превращается в механизм; он делается орудием бессилия, которое не может себе дать отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка. Скажу более: у нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить и, прельщая легкостию безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования. При сем нравственном положении России, одно только средство представляется тому, кто пользу ее изберет целию своих действий. Надобно бы совершенно остановить нынешний ход ее словесности и заставить ее более думать, нежели производить». Шеллингианские идеалистические позиции Веневитинова были, конечно, чужды Пушкину. Но в сложной и враждебной ему обстановке второй половины 20-х годов Пушкин искал хотя бы временных союзников для борьбы против общих литературных противников (Булгарина и Полевого). Он предполагал, что журнал московских любомудров будет органом его соб-

ственным и его друзей. Любомудры его интересовали прежде всего как критическая сила. Но уже с первых шагов этого сближения выяснилось, что немецкий идеализм любомудров враждебен Пушкину. Так, Пушкин писал Дельвигу 2 марта 1827 года: «На-днях, рассердясь на тебя и на твое молчание, написал я Веневитинову суровое письмо... Ты пеняешь мне за Московский Вестник — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... Моск. Вестник сидит в яме, и спрашивает: веревка вещь какая? (впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB). А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану терять. Им же хуже, если они меня не слушают».

В написанной в 1827—1828 годах 7-й главе «Евгения Онегина» (строфа 49) Пушкин иронически говорил о московских литературных юношах-аристократах, подчеркивая, что они, в отличие от Вяземского, пушкинского друга, не поняли любимой героини Пушкина — Татьяны:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят

И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

В конце октября 1826 года Веневитинов перевелся в Петербург, где собирался служить в министерстве иностранных дел. Он уехал в Петербург вместе с А. С. Хомяковым и французом Воше, библиотекарем гр. Лаваля, возвращавшимся после проводов его дочери, кн. Е. И. Трубецкой, последовавшей за своим мужем-декабристом в Сибирь. За Воше был установлен надзор, и при въезде в Петербург путешественники были арестованы. Веневитинов просидел на гауптвахте два или три дня, причем держал себя на допросе независимо и на вопрос об отношении к декабристам ответил прямо и резко, что «если он и не принадлежал к их обществу, то мог бы легко принадлежать к нему». Все же он был освобожден, так как никакого конкретного обвинения ему не могло быть предъявлено.

В Петербурге Веневитинов нашел некоторых своих московских друзей (В. Ф. Одоевского, А. И. Кошелева), познакомился и

сблизился с А. А. Дельвигом и усердно посещал литературные и музыкальные салоны: гр. М. Ю. Виельгорского, основавшего тогда музыкальное общество, гр. Строганова, гр. Лаваль, В. Ф. Одоевского и др. Холодное и пустое светское общество Петербурга явно тяготило Веневитинова. В то же время петербургский период его жизни — это период напряженной поэтической работы. Он поселился на Мойке (теперь дом № 82), вместе с Ф. С. Хомяковым, который оставил красочное описание их совместной жизни. «У него в 24 часах, из которых составлены сутки, не пропадет ни минуты, ни полминуты, — писал он о Веневитинове. — Ум и воображение, и чувства в беспрестанной деятельности. Как скоро он встал, и до самого того времени, как он выезжает, он или пишет или бормочет новые стихи; приехал из гостей, весело ли ему было или скучно, опять за то же принимается, и это продолжается обыкновенно до трех часов ночи... Он редко читает, гулять никогда не ходит, выезжает только по обязанности, то есть к тем, к кому имел рекомендательные письма». Его лучшие, наиболее зрелые стихотворения созданы именно здесь. И все же он тяготится сомнениями в своем даровании. 14 февраля он пишет брату: «Авось окончу в скором времени большое сочинение, которое решит: должен ли я следовать влечению к поэзии или побороть в себе эту

страсть». 7 марта жалуется Погодину: «Последнее время меня тяготит сомнение в себе. Трудно жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя». Он замышляет большой роман, мечтает о поездке в Персию в составе дипломатического посольства, но смерть неожиданно обрывает все эти замыслы. Простудившись на вечере у Ланских, Веневитинов умер 15 марта 1827 года, на двадцать втором году жизни.

Смерть его потрясла весь литературный мир России. Дельвиг, Языков, И. Дмитриев, Хомяков, Кольцов, Н. Ободовский, М. Лихонин, А. И. Одоевский, Туманский, кн. З. Волконская, Деларю, Трилунный, Ознобишин и др. откликнулись на смерть высоко одаренного юноши.

2

В поэзии 20-х годов голос Веневитинова прозвучал едва заметно. Его стихи стали появляться в альманахах и журналах в 1827 году, за два месяца до его смерти. Всего девять стихотворений и три критические статьи были напечатаны при его жизни. Очень многое осталось вообще незавершенным — в набросках, черновиках, отрывках, замыслах. В сущности мы имеем перед собою сочинения начинаю-

щего поэта, несомненно даровитого, незаурядного, но все же поэта, едва вступившего в литературу. Тем не менее уже в 20-х годах, а в особенности после посмертного издания его стихотворений (1829), Веневитинов приобрел прочную славу настоящего поэта.

Каждое стихотворение Веневитинова, особенно в 1826—1827 годы, получает свое настоящее звучание только в цикле, в окружении других стихотворений. Это понимал он сам и его друзья, читатели и критики его произведений: «Эти пьесы как-то все связаны между собою, и мне бы хотелось напечатать их в том же порядке, в котором они были написаны», — писал Веневитинов о своих произведениях. Лирическое стихотворение воспринимается как фрагмент чего-то цельного, общего, большого. Читатели и критики восстановили из этих фрагментов образ поэта, его мировоззрение, его чувства, его жизнь. «Кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, — писал о Веневитинове И. Киреевский, — единства, одушевлявшего их существа, кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройной жизнью поэтической, — тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслью, каждая мысль согрета сердцем».

В поэзии Веневитинова, особенно в петербургский период, темы жизни, смерти и бессмертия составляют едва ли не основной поэтический мотив. Жизнь в стихах Веневитинова — это старая, длинная, скучная пересказанная сказка («Жизнь»), это «ад на свете», от которого следует освободиться путем самоубийства («Кинжал»), только смерть освобождает от условностей «суждений света» («Завещание»). Эти пессимистические мотивы неоднократно связывались с несчастной любовью Веневитинова к кн. Волконской. Между тем, они имеют, конечно, более глубокие социальные корни. В поэтическом цикле Веневитинова жизнь, вообще говоря, не лишена радостей — он упоминает и ее «кубок счастья» и ее «песни радости» («Жертвоприношение»). Пессимизм Веневитинова — не в огульном отрицании жизни, а в признании несовместимости светской жизни с миром возвышенных страстей, мыслей, поэзии.

Что счастье мне? Зачем оно?
Не ты ль твердила, что судьбою
Оно лишь *робким* здесь дано,
Что *счастья с пламенной душою*
Нельзя в сем мире сочетать...

(«*К моей богине*»)

Что же это? Романтическая отрешенность поэта от всего земного или полемика

с ограниченным светским обществом Петербурга последекабрьского периода? И то и другое. Вспомним, какими красками рисует это общество Веневитинов в своих письмах к брату: «Обедаю за общим столом у Andrieux. Там собираются говоруны и умники Петербурга. Я, разумеется, молчу, и нужно прибавить, что я стал и очень молчалив с тех пор, как тебя оставил». Именно здесь создается конфликт поэта с окружающим его обществом:

Храни меня от тяжких ран
И света и толпы ничтожной...
(«*К моему перстню*»)

или:

Ты знаешь, мне ль боготворить
Душой, не созданной для счастья,
Толпы привычные мечты
И дани раболепной дружбы
Носить кумиру суеты...
(«*К моей богине*»)

Или в послании к Рожалину:

Когда б ты видел этот мир,
Где взор и вкус разочарован,
Где чувство стынет, ум окован,
И где тщеславие — кумир,
Когда б в пустыне многолюдной
Ты не нашел души одной, —

Поверь, ты б навсегда, друг мой,
Забыл свой ропот безрассудный...

(*«Послание к Рожалину»*)

Эти мотивы стихов Веневитинова не были, конечно, рисовкой и вовсе не являлись, как принято думать, общими местами или просто романтической темой, может быть, навеянной даже Байроном. Его действительно угнетало пустое светское общество Петербурга, и особенно тяжело угнетала обстановка реакционного Петербурга непосредственно после казни декабристов.

«Веневитинов не родился способным к жизни в новой русской атмосфере...— писал о нем Герцен — Веневитинов был задушен в двадцать два года грубыми тисками русской жизни». В этой обстановке мотивы отрицания жизни, мотивы ущербности, смертельной безысходности, социального одиночества, составлявшие основную тему лирики Веневитинова, приобретали социальную значимость.

Отсюда вырастало и новое понимание образа поэта, его назначения в жизни. Если жизнь кладется на жертвенник поэзии («Жертвоприношение»), то:

Тому, кто жребий довершил,
Потеря жизни не утрата —
Без страха мир покинет он.
Судьба в дарах своих богата,

И не один у ней закон:
Тому — *процветь развитой силой*
И смертью жизни след стереть,
Другому — рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой.

(«*Поэт и друг*»)

Самое понятие бессмертия в связи с этой темой приобретает у Веневитинова новое значение: купленная ценою жизни поэзия не умирает с поэтом, она продолжает жить и после его смерти, в ней собственно и продолжается жизнь ее творца. В «Утешении» эта мысль развита еще полнее. Человеческая жизнь не может остаться бесплодной:

. . . . . . Когда-нибудь
Созреет плод сей муки тайной,
И слово сильное случайно
Из груди вырвется твоей:
Уронишь ты его не даром;
Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет,
А в ней пробудится пожаром...

Эти стихи перекликаются со знаменитым стихом декабриста А. И. Одоевского «Из искры возгорится пламя».

Все эти мотивы, как указывалось, теснейшим образом связаны со взглядами Веневитинова на назначение поэта. Задача, которую он ставил перед поэзией, как

теоретик и критик, заключалась в пропаганде философской содержательности поэзии. Идеальными поэтами он считает Гете и Шиллера.

И, однако, если рассмотреть его поэзию в свете тех больших общефилософских требований, какие он, вслед за натурфилософской эстетикой Шеллинга, предъявлял поэзии, то окажется, что в его стихах эти требования отразились узко, что они исчерпываются несколькими мотивами, группирующимися вокруг темы: судьба юноши, поэта, исполненного высокого идеализма, в трагическом столкновении с чуждым ему миром. В этом поэтическом образе, вокруг которого циклизованы все лучшие стихи Веневитинова, выразились, однако, не только мотивы современного немецкого романтизма, но также и глубокая неудовлетворенность молодого поэта окружавшей его социальной действительностью.

М. Аронсон

К ДРУЗЬЯМ

Пусть искатель гордой славы
Жертвует покоем ей!
Пусть летит он в бой кровавый
За толпой богатырей!
Но надменными венцами
Не прельщен певец лесов:
Я счастлив и без венцов
С лирой, с верными друзьями.

Пусть богатства страсть терзает
Алчущих рабов своих!
Пусть их златом осыпает,
Пусть они из стран чужих
С нагруженными судами
Волны ярые дробят: —
Я без золота богат
С лирой, с верными друзьями.

Пусть веселий рой шумящий
За собой толпы влечет!
Пусть на их олтарь блестящий
Каждый жертву понесет!
Не стремлюсь за их толпами —
Я без шумных их страстей
Весел участью своей
С лирой, с верными друзьями.

1821

ВЕТОЧКА

В бесценный час уединенья,
Когда пустынною тропой
С живым восторгом упоенья
Ты бродишь с милою мечтой
В тени дубравы молчаливой, —
Видал ли ты, как ветр игривой
Младую веточку сорвет?
Родной кустарник оставляя,
Она виется, упадая
На зеркало ручейных вод,
И, новый житель влаги чистой,
С потоком плыть принуждена,
То над струею серебристой
Спокойно носится она,
То вдруг пред взором исчезает
И кроется на дне ручья;
Плывет — все новое встречает,
Все незнакомые края:
Усеян нежными цветами
Здесь улыбающийся брег,
А там пустыни, вечный снег,
Иль горы с грозными скалами.
Так дале веточка плывет
И путь неверный свой свершает,
Пока она не утопает

В пучине беспредельных вод.
Вот наша жизнь! — так к верной цели
Необоримою волной
Поток нас всех от колыбели
Влечет до двери гробовой.

1821—1822

ДВА ОТРЫВКА ИЗ НЕКОНЧЕННОЙ ПОЭМЫ

1

Шуми, Осетр! твой брег украшен
Делами славной старины;
Ты роешь камни мшистых башен
И древней, твердыя стены,
Обросшей давнею травою.
Но кто над древнею рекою
Разбросил груды кирпичей,
Остатки древних укреплений,
Развалины минувших дней?
Иль для грядущих поколений
Как памятник стоят оне
Воинских, громких приключений?
Так, брань пылала в сей стране;
Но бранных нет уже: могила
Могучих с слабыми сравнила.
На поле битв — глубокий сон.
Прошло победы ликованье,
Умолкнул побежденных стон;
Одно лишь темное преданье
Вещает о делах веков
И веет вкруг немых гробов.

Взгляни, как новое светило,
Грозя пылающим хвостом,
Поля рязански озарило
Зловещим пурпурным лучом.
Небесный свод от метеора
Багровым заревом горит.
Толпа средь княжеского двора
Растет, теснится и шумит;
Младые старцев окружают
И жадно ловят их слова:
Несется разная молва.
Из них иные предвещают
Войну кровавую иль глад;
Другие даже говорят,
Что скоро, к ужасу вселенной,
Раздастся звук трубы священной
И с пламенным мечом в руках
Промчится ангел истребленья.
На лицах суеверный страх,
И с хладным трепетом смятенья
Власы поднялись на челах.

2

Средь терема, в покое темном,
Под сводом мрачным и огромным,
Где тускло, меж столбов, мелькал
Светильник бледный, одинокий,
И слабым светом озарял
И лики стен, и свод высокий
С изображеньями святых, —
Князь Федор окружен толпою
Бояр и братьев молодых.
Но нет веселия меж них:

В борьбе с тревогою немою,
Глубокой думою томясь,
На длань склонился юный князь,
И на челе его прекрасном
Блуждали мысли, как весной
Блуждают тучи в небе ясном.
За часом длился час, другой;
Князья, бояре все молчали —
Лишь чаши звонкие стучали.
И в них шипел кипящий мед.
Но мед, сердец славянских радость,
Душа пиров и враг забот,
Для князя потерял всю сладость,
И Федор без отрады пьет.
В нем сердце к радости остыло:

. . . .

Ты улетел, восторг счастливый,
И вы, прелестные мечты,
Весенней жизни красоты,
Ах! вы увяли, как средь нивы
На миг блеснувшие цветы!
Зачем, зачем тоске унылой
Младое сердце он отдал?
Давно ли он с супругой милой
Одну лишь радость в жизни знал?
Бывало, братья удалые
Сбирались шумною толпой:
Меж них младая Евпраксия
Была веселости душой,
И час вечернего досуга,
В беседе дружеского круга,
Как чистый, быстрый миг летел.

1824

К [Ф. Я.] СКАРЯТИНУ

При посылке ему водевиля

Не плод высоких вдохновений
Певец и друг тебе приносит в дар;
Не Пиэрид небесный жар,
Не пламенный восторг, не гений
Моей душою обладал:
Нестройной песнию моя звучала лира,
И я в безумьи променял
Улыбку муз на смех Сатира.
Но ты простишь мне грех безвинный мой;
Ты сам, прекрасного искатель,
Искусств счастливый обожатель,
Нередко для проказ забыв восторг живой,
Кидая кисть — орудье дарованья,
Пред музами грешил наедине
И смелым углем на стене
Чертил фантазии игривые созданья.
Воображенье без оков,
Оно, как бабочка, игриво:
То любит над блестящей нивой
Порхать в кругу земных цветов,
То к радуге, к цветам небесным мчится.
Не думай, чтоб во мне погас
К высоким песням жар! Нет, он в душе
таится,

Его пробудит вновь поэта мощный глас,
И, смелый ученик Байрона,
Я устремлюсь на крылиях мечты
К волшебной стороне, где лебедь Альбиона
Срывал забытые цветы.
Пусть это сон! меня он утешает,
И я не буду унывать,
Пока судьба мне позволяет
Восторг с друзьями разделять.
О друг! мы разными стезями
Пройдем определенный путь:
Ты избрал поприще, покрытое трудами,
Я захотел заранеей отдохнуть;
Под мирной сенью оливы
Я избрал свой приют; но жребий мой
счастливый
Не должен славою мелькнуть:
У скромной тишины на лоне
Прокрадется безвестно жизнь моя
Как тихая вода пустынного ручья.
Ты бодрый дух обрек Беллоне,
И, доблесть сильных возлюбя,
Обрек свой меч кумиру громкой славы.
Иди! — Но стана шум, воинские забавы, —
Всё будет чуждо для тебя,
Как сна нежданные виденья,
Как мира нового явленья.
Быть может, на брегу Днепра,
Когда в тени подвижного шатра
Твои товарищи, драгуны удалые,
Кипя отвагой боевой,
Сберутся вкруг тебя шумящею толпой,
И громко зазвучат бокалы круговые, —

Жалея мыслию о прежней тишине,
Ты вспомнишь о друзьях, ты вспомнишь
обо мне;
Чуждаясь новых сих веселий,
О списке вспомнишь ты моем,
Иль, взор нечаянно остановив на нем,
Промолвишь про себя: мы некогда умели
Шалить с пристойностью, проказничать
с умом.

1825

СОНЕТ

К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья,
На крылиях любви несется мысль моя:
Она затеряна в юдоли заточенья,
И все зовет ее в небесные края.

Но ты облек себя в завесу тайны вечной:
Напрасно силится мой дух к тебе парить.
Тебя читаю я во глубине сердечной,
И мне осталося надеяться, любить.

Греми надеждою, греми любовью, лира!
В преддверьи вечности, греми его хвалой!
И если б рухнул мир, затмился свет эфира
И хаос задавил природу пустотой, —
Греми! Пусть сетуют среди развалин мира
Любовь с надеждою и верою святой!

1825

СОНЕТ

Спокойно дни мои цвели в долине жизни;
Меня лелеяли веселие с мечтой;
Мне мир фантазии был ясный край отчизны,
Он привлекал меня знакомой красотой.

Но рано пламень чувств, душевные порывы
Волшебной силою разрушили меня:
Я жизни сладостной теряю луч счастливый,
Лишь вспоминание от прежнего храня.

О муза! Я познал твое очарованье!
Я видел молний блеск, свирепость ярых волн;
Я слышал треск громов и бурей завыванье —
Но что сравнить с певцом, когда он страсти
полн.
Прости! питомец твой тобою погибает
И, погибающий, тебя благословляет.

1825

СМЕРТЬ БАЙРОНА

(Четыре отрывка из неконченного пролога)

I

Байрон

К тебе стремился я, страна очарований!
Ты в блеске снилась мне, и ясный образ
твой,
В волшебные часы мечтаний,
На крыльях радужных летал передо мной.
Ты обещала мне отдать восторг целебной,
Насытить жадный дух добычею веков, —
И стройный хор твоих певцов,
Гремя гармонией волшебной,
Мне издали манил с полуденных брегов.
Здесь думал я поднять таинственный покров
С чела таинственной природы,
Узнать вблизи сокрытые черты,
И в океане красоты
Забыть обман любви, забыть обман свободы

II

Вождь греков

Сын Севера! Взгляни на волны:
Их вражии покрыли корабли,

Но час пройдет, — и наши челны
Им смерть навстречу понесли!
Они еще сокрыты за скалою,
Но скоро вылетят на произвол валов.
Сын Севера! готовься к бою.

Байрон

Я умереть всегда готов.

Вождь

Да! Смерть сладка, когда цвет жизни
Приносишь в дань своей отчизне.
Я сам не раз ее встречал
Средь нашей доблестной дружины,
И зыбкости морской пучины
Надежду, жизнь и всё вверял.
Я помню славный берег Хио —
Он в памяти и у врагов.
Средь верной пристани ночуя,
Спокойные магометане
Не думали о шуме браней.
Покой лелеял их беспечность.
Но мы, мы, греки, не боимся
Тревожить сон своих врагов:
Летим на десяти ладьях;
Взвилися молньи роковые,
И вмиг зажглись валы морские.
Громады кораблей взлетели, —
И всё затихло в бездне вод.
Что ж озарил луч ясный утра? —
Лишь опустелый океан,
Где изредка обломок судна

К зеленым несся берегам,
Иль труп холодный, и с чалмою,
Качался тихо над водою.

III

Хор

Валы Архипелага
Кипят под злой ватагой;
Друзья! на кораблях
Вдали чалмы мелькают
И месяцы сверкают
На белых парусах.
Плывут рабы султана,
Но заповедь Корана
Им не залог побед.
Пусть их несет отвага!
Сыны Архипелага
Им смерть пошлют вослед.

IV

Хор

Орел! Какой перун враждебной
Полет твой смелый прекратил?
Чей голос силою волшебной
Тебя созвал во тьму могил?
О Эвр! вей вестию печальной!
Реви уныло, бурный вал!
Пусть Альбиона берег дальной,
Трепеща, слышит, что он пал.

Стекайтесь, племена Эллады,
Сыны свободы и побед!

Пусть вместо лавров и награды
Над гробом грянет наш обет:
Сражаться с пламенной душою
За счастье Греции, за месть,
И в жертву падшему герою
Луну поблекшую принесть!

1825

ПЕСНЬ ГРЕКА

Под небом Аттики богатой
Цвела счастливая семья.
Как мой отец, простой оратай,
За плугом пел свободу я.
Но турок злые ополченья
На наши хлынули владенья...
Погибла мать, отец убит,
Со мной спаслась сестра младая,
Я с нею скрылся, повторяя:
За всё мой меч вам отомстит.

Не лил я слез в жестоком горе,
Но грудь стеснило и свело;
Наш легкий челн помчал нас в море,
Пылало бедное село,
И дым столбом чернел над валом.
Сестра рыдала, — покрывалом
Печальный взор полузакрыт;
Но слыша тихое моленье,
Я припевал ей в утешенье:
За всё мой меч вам отомстит.

Плывем, и при луне сребристой
Мы видим крепость над скалой.
Вверху как тень на башне мшистой

Шагал турецкий часовой;
Чалма склонилася к пищали.
Внезапно волны засверкали,
И вот — в руках моих лежит
Без жизни дева молодая.
Я обнял тело, повторяя:
За всё мой меч вам отомстит.

Восток румянился зарею,
Пристала к берегу ладья,
И над шумящею волною
Сестре могилу вырыл я.
Не мрамор с надписью унылой
Скрывает тело девы милой,
Нет, под скалою труп зарыт;
Но на скале сей неизменной
Я начертал обет священной:
За всё мой меч вам отомстит.

С тех пор меня магометане
Узнали в стычке боевой,
С тех пор, как часто в шуме браней
Обет я повторяю свой!
Отчизны гибель, смерть прекрасной,
Всё, всё припомню в час ужасной;
И всякий раз, как меч блестит
И падает глава с чалмою,
Я говорю с улыбкой злою:
За всё мой меч вам отомстит.
1825

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ

(Посвящено Софье Владимировне Веневитиновой)

На небе все цветы прекрасны,
Все мило светят над землей,
Все дышат горней красотой.
Люблю я цвет лазури ясный;
Он часто томностью пленял
Мои задумчивые вежды
И в сердце робкое вливал
Отрадный луч благой надежды;
Люблю, люблю я цвет луны,
Когда она в полях эфира,
С дарами сладостного мира,
Плывет как ангел тишины;
Люблю цвет радуги прозрачной, —
Но из цветов любимый мой
Есть цвет денницы молодой:
В сем цвете, как в одежде брачной,
Сияет утром небосклон;
Он цвет невинности счастливой;
Он чист, как девы взор стыдливой,
И ясен, как младенца сон.

Когда и страх и рой веселий,
Все было чуждо для тебя

В пределах тесной колыбели:
Посланник неба, возлюбя
Младенца милую беспечность,
Тебя лелеял в тишине;
Ты почивала, но во сне,
Душой разгадывая вечность,
Встречала ясную мечту
Улыбкой милою, прелестной...
Что сорвало улыбку ту,
Что зрела ты — мне неизвестно;
Но твой хранитель — гость небесной
Взмахнул таинственным крылом, —
И тень ночная пробежала,
На небосклоне заиграла
Денница пурпурным огнем,
И луч румяного рассвета
Твои ланиты озарил.
С тех пор он вдвое стал мне мил,
Сей луч румяного рассвета.
Храни его... не даром он
На девственных щеках возжен;
Не отблеск красоты напрасной,
Нет! он печать минуты ясной,
Залог он тайный, не земной.
На небе все цветы прекрасны,
Все дышат горней красотой;
Но меж цветов есть цвет святой,
То цвет денницы молодой.

13 августа 1825

К. И. ГЕРКЕ

(При послании трагедии Вернера)

В вечерний час уединенья,
Когда свободный от трудов
Ты сердцем жаждешь вдохновенья,
Гармоньи сладостной стихов,

Читай — мечтай — пусть пред тобою
Завеса времени падет,
И ясной, длинной чередою
Промчится ряд минувших лет!

Взгляни! — уже могучий Гений
Расторгнул хладный мрак могил;
Уже собрав Героев тени,
Тебя их сонмом окружил —

Узнай печать небесной силы
На побледневших их челах.
Ее не сгладил прах могилы,
И тот же пламень в их очах. . .

Но ты во храме. — Вкруг гробницы,
Где милое дитя лежит,
Поют печальные девицы —
И к небу стройный плач летит.

«Зачем она, как майский цвет,
На миг блеснувший красотою,
Оставила так рано свет
И радость унесла с собою!»

Ты слушаешь — и слезы пали
На лист с пылающих ланит,
И чувство тихое печали
Невольно сердце шевелит. —

Блажен, блажен, кто в полдень жизни
И на закате ясных лет,
Как в недрах радостной отчизны,
Еще в фантазии живет.

Кому небесное — родное,
Кто сочетает с сединой
Воображенье молодое
И разум с пламенной душой.

В волшебной чаше наслажденья
Он дна пустова не найдет,
И всекликнет, в чувствах упоенья:
«*Прекрасному пределов нет!*»
1826

ПОСЛАНИЕ К [Н. М.] РОЖАЛИНУ

Я молод, друг мой, в цвете лет,
Но я изведал жизни море,
И для меня уж тайны нет
Ни в пылкой радости, ни в горе.
Я долго тешился мечтой,
Звездам небесным слепо верил,
И океан безбрежный мерил
Своею утлою ладьей.
С надменной радостью, бывало,
Глядел я, как мой смелый челн
Печатал след свой в бездне волн.
Меня пучина не пугала:
«Чего страшиться? — думал я: —
Бывало ль зеркало так ясно,
Как зыбь морей?» Так думал я,
И гордо плыл, забыв края.
И что ж скрывалось под волною?
О камень грянул я ладьею,
И вдребезги моя ладья!
Обманут небом и мечтою,
Я проклял жребий и мечты...
Но издали манил мне ты,

Как брег призывный улыбался,
Тебя с восторгом я обнял,
Поверил снова наслажденьям
И с хладной жизнью сочетал
Души горячей сновиденья.

1825

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ ГОД

Друзья! настал и *новый год*!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали; —
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых искренних друзей.

Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья,
И всё, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
Попрежнему в год новый сей
Любите муз и песен сладость,
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных
И старых, искренних друзей.

Декабрь 1825

ЭЛЕГИЯ

Волшебница! Как сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!
Как я любил твои воспоминанья,
Как жадно я внимал словам твоим
И как мечтал о крае неизвестном!
Ты упилась сим воздухом чудесным,
И речь твоя так страстно дышит им!
На цвет небес ты долго нагляделась
И цвет небес в очах нам принесла.
Душа твоя так ясно разгорелась
И новый огнь в груди моей зажгла.
Но этот огнь томительный, мятежной,
Он не горит любовью тихой, нежной, —
Нет! он и жжет, и мучит, и мертвит,
Волнуется изменчивым желаньем,
То стихнет вдруг, то бурно закипит,
И сердце вновь пробудится страданьем.
Зачем, зачем так сладко пела ты?
Зачем и я внимал тебе так жадно,
И с уст твоих, певица красоты,
Пил яд мечты и страсти безотрадной?

1826

ИТАЛИЯ

Италия, отчизна вдохновенья!
Придет мой час, когда удастся мне
Любить тебя с восторгом наслажденья,
Как я любил твой образ в светлом сне.
Без горя я с мечтами распрощаюсь,
И наяву, в кругу твоих чудес,
Под яхонтом сверкающих небес,
Младой душой по воле разыграюсь.
Там радостно я буду петь зарю
И поздравлять царя светил с восходом;
Там гордо я душою воспарю
Под пламенным необозримым сводом.
Как весело в нем утро золотое
И сладостна серебряная ночь!
О мир сует! тогда от мыслей прочь!
В объятьях нег и в творческом покое,
Я буду жить в минувшем средь певцов,
Я вызову их тени из гробов!
Тогда, о Тасс! твой мирный сон нарушу,
И твой восторг, полуденный твой жар
Прольет и жизнь, и песней сладких дар
В холодный ум и в северную душу.

1826

К ПУШКИНУ

Известно мне: доступен Гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа,
И снисходительного слуха
Младую музу удостой.
Когда пророк свободы смелый,
Тоской измученный поэт,
Покинул мир осиротелый,
Оставя славы жаркий свет
И тень всемирныя печали,
Хвалебным громом прозвучали
Твои стихи ему вослед.
Ты дань принес увядшей силе,
И славе на его могиле
Другое имя завещал.
Ты тише, слаще воспевал
У муз похищенного галла.
Волнуясь песнею твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала.
Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья;

К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец:
Он наш, — жилец того же света.
Давно блестит его венец;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней глас поэта.
Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас,
К знакомым думам клонит нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой.
И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Ответно лебедь запоет
И, к небу с песнею прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

Сентябрь—октябрь 1829

МОНОЛОГ ФАУСТА

(Ночь. Пещера)

Всевышний дух! ты всё, ты всё мне дал,
О чем тебя я умолял;
Не даром зрелся мне
Твой лик, сияющий в огне.
Ты дал природу мне, как царство, во
владенье;
Ты дал душе моей
Дар чувствовать ее, дал силу наслажденья.
Иной едва скользит по ней
Холодным взглядом удивленья;
Но я могу в ее таинственную грудь
Как в сердце друга заглянуть.
Ты протянул передо мною
Созданий цепь, — я узнаю
В водах, в лесах, под твердью голубою
Одну благую мать, одну ее семью.
Когда завоет ветр в дубраве темной,
И лес качается, и рухнет дуб огромной,
И ветви ближние ломаются, трещат,
И стук и грохот заунывный
В долине будит гул отзывный:
Ты путь в пещеру кажешь мне,
И там, среди уединенья,

вижу новый мир и новые явленья,
И созерцаю в тишине
Души чудесные, но тайные виденья.
Когда же ветры замолчат,
И тихо на полях эфира
Всплывет луна, как светлый вестник мира,
Тогда подъемлется передо мной
Веков туманная завеса,
И с грозных скал, из дремлющего леса
Встают блестящею толпой
Минувшего серебряные тени
И светят в сумраке суровых размышлений.
Но, ах! теперь я испытал,
Что нет для смертных совершенства!
Напрасно я, в мечтах душевного блаженства,
Себя с бессмертными равнял!
Ты к страшному врагу меня здесь приковал;
Как тень моя, сопутник неотлучный,
Холодной злобою, насмешкою докучной
Он отравил дары небес.
Дыханье слов его сильней твоих чудес!
Он в прах меня низринул предо мною,
Разрушил в миг мир, созданный тобою,
В груди моей зажег он пламень роковой,
Вдохнул любовь к несчастному созданью,
И я стремлюсь несытою душой
В желаньи к счастию, и в счастии к желанью.

Осень 1826

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Не даром шампанское пеной играет,
Не даром кипит чрез края:
Оно наслажденье нам в душу вливает
И сердце нам греет, друзья!

Оно мне внушило предчувствье святое!
Так! счастье нам всем суждено:
Мне — пеною выкипеть в праведном бое,
А вам — для свободы созреть как вино!

Осень 1826

ПОЭТ

Тебе знаком ли сын богов,
Любимец муз и вдохновенья?
Узнал ли б меж земных сынов
Ты речь его, его движенья?
Не вспыльчив он, и строгий ум
Не блещет в шумном разговоре,
Но ясный луч высоких дум
Невольно светит в ясном взоре.
Пусть вкруг него, в чаду утех,
Бунтует ветреная младость —
Безумный крик, холодный смех
И необузданная радость:
Всё чуждо, дико для него,
На всё безмолвно он взирает;
Лишь что-то редко с уст его
Улыбку редкую срывает.
Его богиня — простота,
И тихий гений размышленья
Ему поставил от рожденья
Печать молчанья на уста.
Его мечты, его желанья,
Его боязни, ожиданья —
Всё тайна в нем, всё в нем молчит:
В душе заботливо хранит
Он неразгаданные чувства.

Когда ж внезапно что-нибудь
Взволнует огненную грудь, —
Душа, без страха, без искусства,
Готова вылиться в речах
И блещет в пламенных очах.
И снова тих он, и стыдливый
К земле он опускает взор,
Как будто б слышал он укор
За невозвратные порывы.
О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом,
Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных, тихих снов!
Взгляни с слезой благоговенья,
И молви: это сын богов,
Питомец муз и вдохновенья!

До 3 декабря 1826

МОЯ МОЛИТВА

Души невидимый хранитель!
Услышь моление мое!
Благослови мою обитель
И стражем стань у врат ее,
Да через мой порог смиренный
Не прешагнет, как тать ночной,
Ни обольститель ухищренный,
Ни лень с убитою душой,
Ни зависть с глазом ядовитым,
Ни ложный друг с коварством
скрытым.
Всегда надежною броней
Пусть будет грудь моя одета,
Да не сразит меня стрелой
Измена мстительного света.
Не отдавай души моей
На жертву суетным желаньям,
Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей.
Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;
Да взор холодный их не встретит,
Да луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни.

Но в душу влей покоя сладость,
Посей надежды семена,
И отжени от сердца радость —
Она — неверная жена.

Конец ноября 1826

УТЕШЕНИЕ

Блажен, кому судьба вложила
В уста высокий дар речей,
Кому она сердца людей
Волшебной силой покорила;
Как Прометей, похитил он
Творящий луч, небесный пламень,
И вкруг себя, как Пигмальон,
Одушевляет хладный камень.
Немногие сей дивный дар
В удел счастливый получают,
И редко, редко сердца жар
Уста послушно выражают.
Но если в душу вложена
Хоть искра страсти благородной, —
Поверь, не даром в ней она;
Не теплится она бесплодно;
Не с тем судьба ее зажгла,
Чтоб смерти хладная зола
Ее навеки потушила:
Нет! — что в душевной глубине,
Того не унесет могила:
Оно останется во мне.

Души пророчества правдивы.
Я знал сердечные порывы,

Я был их жертвой, я страдал
И на страданья не роптал;
Мне было в жизни утешенье,
Мне тайный голос обещал,
Что не напрасное мученье
До срока растерзало грудь.
Он говорил: «когда-нибудь
Созреет плод сей муки тайной,
И слово сильное случайно
Из груди вырвется твоей.
Уронишь ты его не даром;
Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет,
А в ней пробудится пожаром».

До 3 декабря 1826

ЖИЗНЬ

Сначала жизнь пленяет нас:
В ней всё тепло, всё сердце греет,
И, как заманчивый рассказ,
Наш ум причудливый лелеет.
Кой-что страшит издалека, —
Но в этом страхе наслажденье:
Он веселит воображенье,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривой!
Мы привыкаем к чудесам. —
Потом — на все глядим лениво,
Потом — и жизнь постыла нам.
Ее загадка и завязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

До 3 декабря 1836

ПОСЛАНИЕ К РОЖАЛИНУ

Оставь, о друг мой, ропот твой,
Смири преступные волненья:
Не ищет вчуже утешенья
Душа, богатая собой.
Не верь, чтоб люди разгоняли
Сердец возвышенных печали.
Скупая дружба их дарит
Пустые ласки, а не счастье;
Гордись, что ими ты забыт, —
Их равнодушное бесстрастье
Тебе да будет похвалой.
Заре не улыбался камень;
Так и сердец небесный пламень
Толпе бездушной и пустой
Всегда был тайной непонятной.
Встречай ее с душой булатной
И не страшись от слабых рук
Ни сильных ран, ни тяжких мук.
О, если б мог ты быстрым взором
Мой новый жребий пробежать,
Ты перестал бы искушать
Судьбу неправедным укором.
Когда б ты видел этот мир,
Где взор и вкус разочарован,
Где чувство стынет, ум окован
И где тщеславие — кумир;

Когда б в пустыне многолюдной
Ты не нашел души одной, —
Поверь, ты б навсегда, друг мой,
Забыл свой ропот безрассудной.
Как часто в пламени речей,
Носяся мыслью средь друзей,
Мечте обманчивой, послушной
Давал я руку простодушно —
Никто не жал руки моей.
Здесь лаской жаркого привета
Душа младая не согрета.
Не нахожу я здесь в очах
Огня, возженного в них чувством,
И слово, сжатое искусством,
Невольно мрет в моих устах.
О, если бы могли моленья
Достигнуть до небес скупых,
Не новой чаши наслажденья, —
Я б прежних дней просил у них:
Отдайте мне друзей моих;
Отдайте пламень их объятий,
Их тихий, но горячий взор,
Язык безмолвных рукожатий
И вдохновенный разговор.
Отдайте сладостные звуки:
Они мне счастия поруки, —
Так тихо веяли они
Огнем любви в душе невежды
И светлой радугой надежды
Мои расписывали дни.

Но нет! не все мне изменило:
Еще один мне верен друг,

Один он для души унылой
Друзей здесь заменяет круг.
Его беседы и уроки
Ловлю вниманьем жадным я:
Они и ясны и глубоки,
Как будто волны бытия;
В его фантазии богатой
Я полной жизнию ожил
И ранний опыт не купил
Восторгов раннею утратой.
Он сам не жертвует страстям,
Он сам не верит их мечтам;
Но, как создания свидетель,
Он развернул всей жизни ткань.
Ему порок и добродетель
Равно несут покорно дань,
Как гордому владыке мира:
Мой друг, узнал ли ты Шекспира?

До 3 декабря 1826

К МОЕЙ БОГИНЕ

Не думы гордые вздымают
Страстей исполненную грудь,
Не волны невские мешают
Душе усталой отдохнуть, —
Когда я вдоль реки широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой,
И взор блуждает по брегам,
Язык невнятное лепечет,
И тихо плещущим волнам
Слова прерывистые мечет.
Тогда от мыслей далека
И гордая надежда славы,
И тихоструйная река,
И невский берег величавый;
Тогда не робкая тоска
Бессильным сердцем обладает
И тайный ропот мне внушает...
Тебе понятен ропот сей,
О божество души моей!
Холодной жизнию бесстрастья,
Ты знаешь, мне ль дышать и жить?
Ты знаешь, мне ль боготворить
Душой, не созданной для счастья,
Толпы привычные мечты,

И дани раболепной службы
Носить кумиру суеты?
Нет, нет! и теплые дни дружбы,
И дни горячие любви
К другому сердце приучили:
Другой огонь они в крови,
Другие чувства поселили.
Чтó счастье мне? зачем оно?
Не ты ль твердила, что судьбою
Оно лишь робким здесь дано,
Что счастья с пламенной душою
Нельзя в сем мире сочетать,
Что для него мне не дышать...

О, будь благословенна мною!
Оно священно для меня,
Твое пророчество несчастья,
И, как завет, его храня,
С каким восторгом сладострастья
Я жду губительного дня
И торжества судьбы коварной!
И, если б ум неблагодарной
На небо возроптал в бедах,
Твое б явленье, ангел милой,
Как дар небес, остановило
Проклятье на моих устах.
Мою бы грудь исполнил снова
Благоговения святого
Целебный взгляд твоих очей,
И снова бы в душе моей
Воскресло силы наслажденье,
И счастья гордое презренье,
И сладостная тишина.

Вот, вот, что грудь мою вздымает
И тайный ропот мне внушает!
Вот, чем душа моя полна,
Когда я вдоль Невы широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой.

До 3 декабря 1826

ТРИ РОЗЫ

В глухую степь земной дороги,
Эмблемой райской красоты,
Три розы бросили нам боги,
Эдема лучшие цветы.
Одна под небом Кашемира
Цветет близ светлого ручья;
Она любовница зефира
И вдохновенье соловья.
Ни день, ни ночь она не вянет,
И если кто цветок сорвет,
Лишь только утра луч проглянет,
Свежее роза расцветет.

Еще прелестнее другая:
Она, румяною зарей
На раннем небе расцветая,
Пленяет яркой красотой.
Свежей от этой розы веет,
И веселей ее встречать.
На миг один она алеет,
Но с каждым днем цветет опять.

Еще свежей от третьей веет,
Хотя она не в небесах;

Ее для жарких уст лелеет
Любовь на девственных щеках.
Но эта роза скоро вянет;
Она пуглива и нежна,
И тщетно утра луч проглянет:
Не расцветет опять она.

До января 1827

КИНЖАЛ

Оставь меня, забудь меня!
Тебя одну любил я в мире,
Но я любил тебя как друг,
Как любят звездочку в эфире,
Как любят светлый идеал
Иль ясный сон воображенья.
Я много в жизни распознал,
В одной любви не знал мученья,
И я хочу сойти во гроб
Как очарованный невежда.
Оставь меня, забудь меня!
Взгляни — вот где моя надежда,
Взгляни — но что вздрогнула ты?
Ах, не дрожи: смерть не ужасна,
Ах, не шепчи ты мне про ад:
Верь, ад на свете, друг прекрасной!
Где жизни нет, там муки нет.
Дай поцелуй в залог прощанья. . .
Зачем дрожат твои лобзанья?
Зачем в слезах горит твой взор?
Оставь меня, люби другого!
Забудь меня, я скоро сам
Забуду скорбь житья земного.

До января 1827

НОВГОРОД

«Валяй, ямщик, да говори,
Далеко ль Новград?» — «Не далеко,
Версты четыре или три.
Вон видишь, что-то там высоко,
Как черный лес издалека».—

«Ну, вижу; это облака». —
«Нет! Это новградские кровли».

Ты ль предо мной, о древний град
Свободы, славы и торговли!
Как живо сердцу говорят
Холмы разбросанных обломков!
Не смолкли в них твои дела,
И слава предков перешла
В уста правдивые потомков.

«Ну тройка! духом донесла».

«Потише. Где собор Софийской?» —
«Собор отсюда, барин, близко.
Вот улица, да влево две,
А там найдешь уж сам собою,
И крест на голубой главе
Уж будет прямо пред тобою». —

«Везде былого свежий след!
Века прошли... но их полет
Промчался здесь, не разрушая.
Ямщик! Где площадь вечевая?» —
«Прозванья этого здесь нет». —
«Как нет?» — «А, площадь? недалеко:
За этой улицей широкой.
Вот площадь. Видишь шесть столбов?
По сказкам наших стариков
На сих столбах висел когда-то
Огромный колокол, но он
Давно отсюда увезен». —

«Молчи, мой друг; здесь место свято,
Здесь воздух чище и вольней!
Потише!.. Нет, ступай скорей:
Чего ищу я здесь, безумной?
Где Волхов?» — «Вот перед тобой
Течет под этою горой». —
Всё так же он, волною шумной
Играя, весело бежит!..
Он о минувшем не грустит.
Так всё здесь близко, как и прежде...
Теперь ты сам ответствуй мне,
О Новград! В вековой одежде
Ты предо мной как в седине,
Бессмертных витязей ровесник.
Твой прах гласит, как бдящий
вестник
О непробудной старине.
Ответствуй, город величавый:
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич князей,

Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или кровавой сече
Сзывал послушных сыновей?
Когда твой меч, гроза соседа,
Карал и рыцарей и шведа,
И эта гордая волна
Носила дань войны жестокой?
Скажи, где эти времена?

Они далёко, ах, далёко!

До января 1827

ДОМОВОЙ

«Что ты, Параша, так бледна?» —
«Родная! домовой проклятый
Меня звал нынче у окна.
Весь в черном, как медведь лохматый,
С усами, да какой большой!
Век не видать тебе такого». —
«Перекрестися, ангел мой!
Тебе ли видеть домового?

Ты не спала, Параша, ночь». —
«Родная! страшно; не отходит
Проклятый бес от двери прочь;
Стучит задвижкой, дышит, бродит,
В сенях мне шепчет: отопри!» —
«Ну, что же ты?» — «Да я ни слова».—
«Э, полно, ангел мой, не ври;
Тебе ли слышать домового?

Параша, ты не весела;
Опять всю ночь ты прострадала». —
«Нет, ничего: я ночь спала». —
«Как ночь спала! ты тосковала,
Ходила, отпирала дверь;
Ты, верно, испугалась снова?» —
«Нет, нет, родимая, поверь!
Я не видала домового».

До января 1827

НА НОВЫЙ 1827 ГОД

Так снова год как тень мелькнул,
Сокрылся в сумрачную вечность.
И быстрым бегом упрекнул
Мою ленивую беспечность.
О если б он меня спросил:
«Где плод горячих обещаний?
Чем ты меня остановил?»
Я не нашел бы оправданий
В мечтах рассеянных моих.
Мне нечем заглушить упрека!
Но слушай ты, беглец жестокой!
Клянусь тебе в прощальный миг:
Ты не умчался без возврату;
Я за тобою полечу
И наступающему брату
Весь тяжкий долг свой доплачу.

31 декабря 1826

ТРИ УЧАСТИ

Три участи в мире завидны, друзья!
Счастливец, кто века судьбой управляет,
В душе неразгаданной думы тая.
Он сеет для жатвы, но жатв не сбирает:
Народов признанья — ему не хвала,
Народов проклятья — ему не упреки.
Векам завещает он замысл глубокий:
По смерти бессмертного зреют дела.

Завидней поэта удел на земли.
С младенческих лет он сдружился
с природой,
И сердце Камены от хлада спасли,
И ум непокорный воспитан свободой,
И луч вдохновенья зажегся в очах.
Весь мир облекает он в стройные звуки;
Стеснится ли сердце волнением муки —
Он выплачет горе в горючих стихах.

Но верьте, о други! счастливей стократ
Беспечный питомец забавы и лени.
Глубокие думы души не мутят,
Не знает он слез и огня вдохновений
И день для него, как другой, пролетел,
И будущий снова он встртит беспечно,
И сердце увянет без муки сердечной —
О рок! что ты не дал мне этот удел?

Начало января 1827

К ИЗОБРАЖЕНИЮ УРАНИИ

(В альбум)

Пять звезд увенчали чело вдохновенной:
Поэзии дивной звезда,
Звезда благодатная милой надежды,
Звезда беззакатной любви,
Звезда лучезарная искренней дружбы,
Что пятая будет звезда?
Да будет она, благотворные боги,
Душевного счастья звездой.

Январь 1827?

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

(На И. И. Дмитриева)

Я слышал, Камены тебя воспитали,
Дитя, засыпал ты под басенки их.
Бессмертные дар свой тебе передали —
И мы засыпаем на баснях твоих.

До 28 января 1827

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

О жизнь, коварная сирена,
Как сильно ты к себе влечешь!
Ты из цветов блестящих вьешь
Оковы гибельного плена.
Ты кубок счастья подаешь,
Ты песни радости поешь;
Но в кубке счастья — лишь измена,
И в песнях радости — все ложь.
Не мучь напрасным искушеньем
Груди истерзанной моей
И не лови моих очей
Каким-то светлым привиденьем.
Тебе мои скупые длани
Не принесут покорной дани,
И не тебе я обречен.
Твоей пленительной изменой
Ты можешь в сердце поселить
Минутный огнь, раздор мгновенный,
Ланиты бледностью покрыть,
Отнять покой, беспечность, радость
И осенить печалью младость;
Но не отымешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновений!
Нет! их спасет мой добрый гений,
И не мои они теперь.

Я посвящаю их отныне
Навек поэзии святой
И с страшной клятвой и с мольбой
Кладу на жертвенник богини.

До марта 1827

Я чувствую, во мне горит
Святое пламя вдохновенья,
Но к темной цели дух парит...
Кто мне укажет путь спасенья?
Я вижу, жизнь передо мной
Кипит, как океан безбрежный...
Найду ли я утес надежный,
Где твердой обопрусь ногой?
Иль, вечного сомненья полный,
Я буду горестно глядеть
На переменчивые волны,
Не зная, что любить, что петь?

Открой глаза на всю природу, —
Мне тайный голос отвечал, —
Но дай им выбор и свободу.
Твой час еще не наступал:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывной
Отзывной песнью отвечай!
Когда ж минуты удивленья,
Как сон туманный, пролетят
И тайны вечного творенья
Ясней прочтет спокойный взгляд —
Смирится гордое желанье
Обнять весь мир в единый миг,

И звуки тихих струн твоих
Сольются в стройные созданья. —

Не лжив сей голос прорицанья,
И струны верные мои
С тех пор душе не изменяли.
Пою то радость, то печали,
То пыл страстей, то жар любви,
И беглым мыслям простодушно
Вверяюсь в пламени стихов.
Так соловей в тени дубров,
Восторгу краткому послушной,
Когда на долы ляжет тень,
Уныло вечер воспевает
И утром весело встречает
В румяном небе ясный день.

1826 – 1827

КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ

На легких крылышках
Летают ласточки;
Но легче крылышки
У жизни ветреной —
Не знает в юности
Она усталости,
И радость резвую
Берет доверчиво
К себе на крылия;
Летит, любуется
Прекрасной ношею...
Но скоро тягостна
Ей гостья милая, —
Устали крылышки,
И радость резвую
Она стряхает с них.
Печаль ей кажется
Не столь тяжелою,
И, прихотливая,
Печаль туманную
Берет на крылия
И в даль пускается
С подругой новою.
Но крылья легкие
Все боле, более

Под ношей клонятся,
И вскоре падает
С них гостья новая,
И жизнь усталая
Одна без бремени
Летит свободнее;
Лишь только в крылиях,
Едва заметные,
От ношей брошенных
Следы осталися —
И отпечатались
На легких перышках
Два цвета бледные:
Немного светлого
От резвой радости,
Немного темного
От гостьи сумрачной.

1826—1827

К ЛЮБИТЕЛЮ МУЗЫКИ

Молю тебя, не мучь меня:
Твой шум, твои рукоплесканья,
Язык притворного огня,
Бессмысленные восклицанья
Противны, ненавистны мне.
Поверь, привычки раб холодный,
Не так, не так восторг свободный
Горит в сердечной глубине.
Когда б ты знал, что эти звуки,
Когда бы тайный их язык
Ты чувством пламенным проник,
Поверь, уста твои и руки
Сковались бы как в час святой
Благоговейной тишиной.
Тогда б душа твоя немея
Вполне бы радость поняла,
Тогда б она живей, вольнее
Родную душу обняла.
Тогда б мятежные волненья
И бури тяжкие страстей —
Все бы утихло, смолкло в ней
Перед святыней наслажденья.
Тогда б ты не желал блеснуть
Личиной страсти принужденной,
Но ты б в углу, уединенной,

Таил вселюбящую грудь.
Тебе бы люди были братья,
Ты б втайне слезы проливал
И к ним горячие объятья,
Как друг вселенной, простирал.

1826—1827

К МОЕМУ ПЕРСТНЮ

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.
Но не любовь теперь тобой
Благословила пламень вечной
И над тобой, в тоске сердечной,
Святой обет произнесла;
Нет! дружба в горький час прощанья
Любви рыдающей дала
Тебя залогом состраданья.
О, будь мой верный талисман!
Храни меня от тяжких ран
И света и толпы ничтожной,
От едкой жажды славы ложной,
От обольстительной мечты
И от душевной пустоты.
В часы холодного сомненья
Надеждой сердце оживи,
И если в скорбях заточенья,
Вдали от ангела любви,
Оно замыслит преступленье, —
Ты дивной силой укроти
Порывы страсти безнадежной
И от груди моей мятежной

Свинец безумства отврати.
Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю,
Тогда я друга умолю,
Чтоб он с руки моей холодной,
Тебя, мой перстень, не снимал,
Чтоб нас и гроб не разлучал.
И просьба будет не бесплодна:
Он подтвердит обет мне свой
Словами клятвы роковой.
Века промчатся, и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь;
И снова робкая любовь
Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей,
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верной.

1826—1827

ЗАВЕЩАНИЕ

Вот час последнего страданья!
Внимайте: воля мертвеца
Страшна как голос прорицанья.
Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали; —
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.
Друзьям привет и утешенье!
Восторгов лучшие мгновенья
Мной были им посвящены.
Внимай и ты, моя богиня!
Теперь души твоей святыня
Мне и доступней и ясней —
Во мне умолкнул глас страстей.
Любви волшебство позабыто,
Исчезла радужная мгла,
И то, что раем ты звала,
Передо мной теперь открыто.
Приблизься! вот могилы дверь,
И всё позволено теперь —
Я не боюсь суждений света.
Теперь могу тебя обнять,
Теперь могу тебя лобзать,
Как с первой радостью привета
В раю лик ангелов святых,

Устами чистыми лобзали,
Когда бы мы в восторге их
За гробом сумрачным встречали...
Но эту речь ты позабудь —
В ней тайный ропот исступленья:
Зачем холодные сомненья
Я вылил в пламенную грудь?
К тебе одно мое моленье —
Не забывай... Прочь уверенья!
Клянись... Ты веришь, милый друг,
Что за могильным сим пределом
Душа моя простится с телом
И будет жить как вечный дух,
Без образов, без тьмы и света,
Одним нетлением одета.
Сей дух, как вечно бдящий взор,
Твой будет спутник неотступной,
И если памятью преступной
Ты изменишь... Беда! с тех пор
Я тайно облекусь в укор,
К душе прилипну вероломной,
В ней пищу мщению найду,
И будет сердцу грустно, томно, —
А я, как червь, не отпаду.

1826—1827

ПОЭТ И ДРУГ

(Элегия)

Друг

Ты в жизни только расцветаешь,
И ясен мир перед тобой, —
Зачем же ты в душе младой
Мечту коварную питаешь?
Кто близок к двери гробовой,
Того уста не пламенеют,
Не так душа его пылка,
В приветах взоры не светлеют,
И так ли жмет его рука?

Поэт

Мой друг! слова твои напрасны.
Не лгут мне чувства: их язык
Я понимать давно привык,
И их пророчества мне ясны.
Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе всё чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Друг

Не так природы строг завет.
Не презирай ее дарами:
Она на радость юных лет
Дает надежды нам с мечтами.
Ты часто слышал их привет:
Она желание святое
Сама зажгла в твоей крови
И в грудь для пламенной любви
Вложила сердце молодое.

Поэт

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил! —
Тому, кто жребий довершил,
Потеря жизни — не утрата:
Без страха мир покинет он.
Судьба в дарах своих богата,
И не один у ней закон:
Тому — процвесть с развитой силой
И смертью жизни след стереть,
Другому — рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой!

Друг

Мой друг! зачем обман питать?
Нет! дважды жизнь нас не лелеет.
Я то люблю, что сердце греет,
Что я своим могу назвать,
Что наслажденье в полной чаше
Нам предлагает каждый день;
А что за гробом, то не наше: —
Пусть величают нашу тень,
Наш голый остов отрывают,
По воле ветреной мечты
Дают ему лицо, черты,
И призрак славой называют!

Поэт

Нет, друг мой! славы не брани:
Душа сроднилася с мечтою;
Она надеждою благою
Печали озаряла дни.
Мне сладко верить, что со мною
Не всё, не всё погибнет вдруг,
И что уста мои вещали —
Веселья мимолетный звук,
Напев задумчивой печали, —
Еще напомнит обо мне,
И сильный стих не раз встревожит
Ум пылкий юноши во сне,
И старец со слезой, быть может,
Труды не лживые прочтет; —
Он в них души печать найдет
И молвит слово состраданья:
«Как я люблю его созданья!

Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились,
И мысли полные носились
На легких крыльях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил!»

Сбылись пророчества поэта,
И друг в слезах с началом лета
Его могилу посетил.
Как знал он жизнь, как мало жил!

1826—1827

[ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ]

Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Не много истинных пророков
С печатью тайны на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.

1827

С. ШЕВЫРЕВ



1

Степан Петрович Шевырев родился в 1806 году в семье саратовского губернского предводителя дворянства и помещика средней руки Петра Сергеевича Шевырева. Он учился в Московском университетском благородном пансионе, этом рассаднике дворянского образования и дворянской литературы первых десятилетий XIX века. Он часто выступал со своими стихами в литературных кружках воспитанников пансиона, на публичных актах и даже в Обществе любителей российской словесности, в которое был избран в шестнадцатилетнем возрасте членом-сотрудником. Окончив пансион в конце 1822 года, Шевырев продолжает основательно изучать античные и современные западноевропейские литературы, посещает «педагогические беседы» Мерзлякова, где сближается с Д. В. Веневитиновым, посещает кружок С. Е. Раича, где читает свои переводы с греческого и оригинальные стихотворения.

Вместе с Д. Веневитиновым и целым рядом других юношей (И. В. Киреевским,

В. Ф. Одоевским, В. П. Титовым, Н. А. Мельгуновым и др.) Шевырев углубляется в немецкую романтическую критику и философию (кружок «Мнемозины»). Результатом этих занятий явился вышедший в 1826 году перевод (Шевырева, Мельгунова и Титова) книги В. Ваккенродера «Об искусстве и художниках» — книги, сыгравшей большую роль в истории немецкого романтизма. Так же как Веневитинов, Шевырев служит в Московском архиве Коллегии иностранных дел, как и он, ревностно посещает салон кн. З. А. Волконской.

С приездом в Москву Пушкина, Шевырев принимает самое близкое участие в организации и издании «Московского Вестника», в котором помещает, кроме стихотворений и переводов, принципиальные статьи по вопросам теории искусства, отражающие взгляды всей группы любомудров («Разговор о возможности найти единый закон для изящного» и др.). В конце 1827 года он избирается соредактором журнала. Его стихотворения в это время обращают на него внимание крупнейших поэтов того времени (Пушкина, Баратынского, Крылова).

В начале 1829 года Шевырев получил приглашение кн. З. А. Волконской сопровождать ее в Италию в качестве преподавателя ее сына. Четыре года, проведенные Шевыревым в Италии, явились завершающим этапом в его литературной биографии.

Здесь созрела, развилась и одновременно закончилась его поэтическая деятельность, здесь путем упорной работы он расширил свой научный и литературный кругозор, порвав с немецкой романтической эстетикой и перейдя на позиции культурно-исторической теории литературы. Здесь, наконец, под влиянием политических событий в России и Европе, его либеральные настроения сменились идеологией раннего русского славянофильства. Шевырев уезжал в Италию поэтом-любомудром. Осенью 1832 года он вернулся в Россию ученым и критиком, убежденным славянофилом, но уже более не поэтом.

Вернувшись из Италии, Шевырев представил в Московский университет свои работы «Рассуждение о возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение» и «Данте и его век» и был избран адъюнктом по кафедре изящной словесности. Он читает курсы истории поэзии, истории русского языка и слога, теории поэзии в историческом развитии и истории русской словесности.

Шевырев 30-х годов — профессор и критик, но не поэт. Он изредка печатает еще свои стихи, но более ранние.

В 1835 году он делается руководящим критиком «Московского Наблюдателя». Позиция, которую занял в журнале Шевырев, была позиция борьбы с капитализацией России с охранительных поместно-дворян-

ских позиций. В нашумевшей статье «Словесность и торговля» Шевырев выступил против духа продажности, который приносит капитализация литературы, против литературного профессионализма, с защитой замкнутых и не заинтересованных в рынке литературных салонов. Эта критика велась с позиций защиты реакционного аристократизма в литературе и вскоре превратилась в полемику не столько с рептильной печатью, сколько с передовыми литературными течениями, и прежде всего с Белинским.

В 1838—1840 годах Шевырев совершил свое второе путешествие в Европу, посетил Германию, Италию, Францию и Англию и вернулся в Россию под впечатлением растущего и процветающего промышленного капитализма, который Шевырев, как и другие славянофилы, считал историческим бедствием.

Вскоре после своего возвращения в Россию Шевырев, вместе с М. П. Погодиным, стал во главе журнала «Москвитянин», открывшегося его статьей «Взгляд русского на современное состояние Европы» (1841 г., кн. 1-я), резко сформулировавшей основные взгляды славянофильства. Славянофильство в его наиболее откровенных и резких тенденциях пронизывает все творчество Шевырева — и научное и критическое, в том числе и его лекции.

«Шевырев портил свои чтения тем самым, — писал А. И. Герцен, — чем портил

свои статьи — выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог». Шевырев постепенно скатился на позиции идеолога николаевской реакции, представителя официального уваровского лозунга «самодержавия, православия и народности». Именно таким он вошел в историю русской общественной мысли.

В 1857 году, на почве экзальтированного славянофильства, Шевырев столкнулся с гр. А. Бобринским. Произошла драка, в результате которой полумертвого Шевырева отнесли домой на простынях. Шевырев получил отставку. В 1860 году он снова уехал за границу и больше в Россию уже не возвращался. Он поселился во Флоренции, где прочел курс лекций о русской литературе (изданы на итальянском языке в 1862 году), в начале 1862 года переехал в Париж и снова прочел курс лекций о русской литературе, доведенный им до Гоголя и Лермонтова, но записанный только до Карамзина и Жуковского (напечатано на русском языке в 1884 году). Жестокая болезнь надолго приковала его к постели. Он ездил по курортам, лечился и торопливо диктовал свой парижский курс лекций. 8 мая 1864 года он умер. Известие о его смерти в России было принято равнодушно.

2

Поэзия Шевырева по своему характеру может быть разделена на три периода.

Первый период, в настоящем издании совсем не представленный, составляют его стихи 1820—1824 годов — первые, еще совсем ученические стихотворные опыты. В это время Шевырев пишет самые заурядные оды, послания, элегии, проникнутые ходячей моралью, любовью к добру и презрением к злу, прославлением дружбы, религии и мирной, честной жизни. Позднее он просто отрекся от своих стихов этих лет, считая их как бы не существующими.

Второй период, представленный в настоящем издании наиболее полно, составляет его поэтическая работа 1825—1831 годов. Именно стихи этих лет составили Шевыреву репутацию поэта. Именно в это время его поэзия достигла наибольшего мастерства и привлекла к нему внимание современников.

В 1831 году Шевырев надолго отложил свое поэтическое перо, и в третий период его поэтической деятельности (1839—1864) его стихи уже не имели литературного значения. Они бытовали в качестве «стихов на случай», читались на торжественных обедах, на юбилейных торжествах. Лишь изредка прорываются у Шевырева и лирические стихотворения, но и они не достигают уж былого уровня. Шевырев как поэт, в сущности, умер уже в 1831 году.

Зато в своем втором периоде Шевырев проявил себя незаурядным поэтом, стиховым разведчиком и новатором, стремящимся со-

здать философскую поэзию. Идейный мир его поэзии отражает интересы и поэтические устремления всех любомудров с их лирикой изощренных эмоций и философских идей, восходящих к немецкому романтизму.

Наряду с Веневитиновым («Утешение») и Хомяковым («Сон») Шевырев дает целую гамму вариаций на тему бессмертия творческой мысли («Мысль», «Два духа», «Храм Пестума», «Стансы Риму», «Педантам-изыскателям»), еще до Тютчева он разрабатывает типично-романтическую лирику ночи («Стансы», «Ночь»). Немецкий романтизм во весь голос говорит в его стихах, в которых он пытается выразить мысль о единстве природы и человека («Сила духа», «Преображение»).

Идеи Шеллинга об исторической роли и назначении народов, легшие в основу философско-исторической концепции славянофильства, также находят себе яркое выражение в поэзии Шевырева («К непригожей матери»). Как и у Веневитинова («Новгород»), у Шевырева звучат ноты траурного марша по демократии древнего мира, задавленной абсолютизмом («Форум»). В трагедии «Ромул», при жизни не опубликованной, отразились конституционные идеи. Так, Фаустул, этрусский жрец и носитель народной мудрости в «Ромуле», отражая взгляды самого Шевырева, обращается к Ромулу, избранному царем только что основанного Рима:

Суди лишь Миром; Миром зло казни.
Се Мир пред тобой — совет избранный,
Старейшины — сограждане твои!
Да будет Мир незыблем, непременен!
Свой разум правь по разуму его.
О царь и Мир! Сей град — храненье
ваше...

Под словом «Мир» (Мір) Шевырев, конечно, понимал парламент. «У нас для сената представительного (т. е. парламента) есть прекрасное слово «мір», существующее у простых крестьян» — записал он в своем дневнике в период работы над «Ромулом». Царь и Мир, царь и парламент — вот высшие органы идеального конституционного государства в представлениях Шевырева. Таким образом, в своих концепциях ограничения самодержавия Шевырев являлся типическим представителем раннего славянофильства.

Поэтическая тематика Шевырева тесно переплетается с его историко-литературными и общественно-политическими воззрениями.

Акцент на новом содержании поэтического произведения, создание идейно-насыщенной лирики потребовали коренного пересмотра всей поэтической системы русской поэзии того времени.

Естественно поэтому, что поэтическая система эпигонов карамзинизма, с ее вниманием к частностям, к отделке стиха,

к остроумным оборотам была неприемлема для Шевырева. В своих статьях и рецензиях он исключает чистоту и гладкость слога «из числа важных достоинств поэзии». Он иронизирует по поводу посредственных поэтов, писавших такие гладкие и плавные стихи, что ни один строжайший учитель риторики не найдет у них десятка неисправных стихов, но поэзия которых не выходит за пределы посредственности. «Утюжники», «гладильщики» — вот его терминология. Свои стихи он прямо называет «тяжелыми», «жесткими», он добивается в поэзии максимальной силы выражения, и эта сила выражения — его принципиальное устремление. Посылая свое «Послание к Пушкину» в Москву, он писал Погодину: «Ты заметишь, может быть, в стихах Послания иногда жесткость, но я достиг бы цели, если бы она искупилась силой». И когда Погодин заметил ему, что сила и гладкость не исключают друг друга, он обрушился на своего друга с нескрываемым раздражением: «Гладкое не мешает силе, — писал он ему. — Эх вы, гладильщики!.. Да отчего мускуловатая рука богатыря не гладкая? Да в чем же разумеете гладкость? — Цезуру сдвигаю. О ужас! Quousque? Надо, надо вам греметь с кафедры стихами Данта, чтоб вы поняли истую гармонию...» Он выступает против музыкальной плавности потому, что, по его мнению, изящество

выражения не вскрывает, а заслоняет мысль.

В борьбе с мелодическим стихом Шевырев пытался сначала освежить поэтический стиль, а потом и реконструировать всю поэтическую систему в целом. Он в обилии вводил резкие прозаизмы, сравнивал сердце девушки с ее туалетной комнатой, вводил в альбомные стихи такой словарь, как «пыль», «мусор», «выметать». Современники и критики часто обращали внимание на принципиальную антиэстетическую устремленность его стиля—на введение простонародной речи в стихи (в переводе «Валленштейнова лагеря» Шиллера), на «антиэстетические» образы, вроде:

Что эгоизм есть первый *капитал*,
Его *ломбард* в моей душе бездонной...

(«Журналист и злой дух»)

или на частое упоминание крови, ран в его стихах (см. «Партизанке классицизма»). «Убийственная поэзия» — восклицал в «Северной Пчеле» Булгарин.

Шевырев задумал и реформу самого русского стиха. Опираясь на итальянское силлабическое стихосложение, он переводит седьмую песню «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо: переводит в октавах, широко применяя ритмические перебои, или, как тогда говорили, смешивая ямбы с хореями:

...Ливень, ветер, гроза одним порывом
В очи франкам неистовые бьют.

Он отказывается от симметрического расположения мужских и женских рифм в строфе, вводит порою в октавы дактилические рифмы и т. д. Наконец, в случаях столкновения двух гласных в стихе он видит возможность элизий:

...А в сердце изменнику вникает хлад...

«Я уверен, — пишет он об этом стихе в своем «Рассуждении о возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение», — что всякий, кто хорошо прочел этот стих, т. е. не скандуя его по нашему обычаю, не заметил, что тут есть лишний слог... Да не вменят мне иные это в ошибку или в то, что я не умею сладить со стихом. Я мог бы сказать:

...А в грудь изменнику вникает хлад...

Но всякий, сколько-нибудь постигающий гармонию стиха италианского, всякий, не испортивший совсем уха тоническим размером, предпочтет первый стих...»

Шевырев был самой крупной надеждой любомудров. «Приезжай, — звал его из Италии Мельгунов в 1831 году, — будь корифеем новой школы... положи основание литературе ученой, в противоположность

прежней беллетристике, и тебя подхватит дюжий хор, и наши соловьи Хомяков, Языков к тебе пристанут...»

Для уяснения исторического места творческой работы Шевырева очень важны его отношения с Пушкиным. В послании «К Пушкину» Шевырев полемизировал с пушкинской школой и с Пушкиным, однако искусно преподнося полемику в форме похвального слова Пушкину. Шевырев в своем схоластическом противопоставлении «выражения» и «мысли» совершенно не понимал значительности Пушкина как мыслителя. Полемический смысл послания Шевырева Пушкину, конечно, был ясен.

У Пушкина была своя дорога искания новых путей в начале 30-х годов, и экспериментальная работа Шевырева нового ему дать не могла. Дорога Пушкина шла не в сторону Шевырева, а в сторону Белинского.

Противопоставив себя Пушкину, Шевырев как поэт оказался неизбежно обречен на историческую бесплодность. Эксперименты его не удались, он прекратил поэтическую работу и остался второстепенной фигурой в русской поэзии 20-х годов.

М. Аронсон

Я ЕСМЬ

Да будет! — был глагол творящий
Средь бездн ничтожества немых,
Из мрака смерти — свет живящий
Ответствует на глас — и вмиг
Из волн ожившего эфира
Согласные светила мира
По гласу времени летят,
Стихии жизнию кипят,
Хор тварей звуками немыми
Ответ творящему воздал;
Но человек восстал над ними
И первым словом отвещал:
Я есмь! — и в сей глагол единый совершенной
Слился нестройный тварей хор,
И глас гармонии был отзыв во
вселенной,
И примирен стихий раздор.
И звук всесильного глагола
Достиг до горнего престола,
Отколе глас творящий был;
Ответу внял от века сущий
И в нем познал свой глас могущий
И рекшего благословил.

Мир бысть — прошли века, но в каждое
мгновенье

Да будет! — оглашает свет,
И человек за всё творенье
Дает творящему ответ.
Быстрей, чем мысль в своем пареньe,
Века ответ его передают векам:
Так на крылах грозы ужасной
Несется гром далекогласной
По неизмерным небесам
От облаков ко облакам.
Сим гласом жизни и свободы
Наук воздвигнут светлый храм,
Открыты тайны в нем природы
И светит истина очам.
Так мудрость малый сонм предводит
Любимцев избранных ея
И по ступеням бытия
К началу вечному возводит.
Сим гласом в роковой борьбе
Муж доблести исполнен жаром,
Соперник мстительной судьбе
Ответствует ее ударам.
Судьба бесщадная разит
И силе смертной изумилась;
Над жертвой смерть остановилась;
Гремит косой и глас гремит.
Ни звук времен его не заглушит.
Великих нет, но подвиги их живы!
Над мраком воспарил их дух,
И славы дальные отзывы
Потомства поражают слух.

Сим гласом держится святая прав свобода!
Я есмь! гремит в устах народа

Перед престолами царей.
И чтут цари в законе строгом
Сей глас, благословенный богом.
В раздорах царств, на поле прей
Велик и силен и возвышен,
Во звуке гневного оружия он слышен!
Стеклись два воинства; где глас в сердцах
сильней
Одушевлен любовью раздается,
Победа там несется!
Но выше он гремит, согласнее, звучней,
В порывах творческого чувства,
Им создан дивный мир искусства —
И с неба красота в лучах
Пред взором Гения явилась
И в звуках, образах, словах
Чудесной силой оживилась.
Как в миг созданья вечный бог
Узрел себя в миророжденьи,
Так смертный человек возмог
Познать себя в своем твореньи.

—

Греми сильней, о мощный глас!
И ныне и в веках грядущих
Звучи дотоле, как, слиясь
Со звуками миров, в ничтожество
падущих,
Ты возгремишь в последний раз.

1825

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР ПО ИЗГНАНИИ АДАМА

Адам, встречая первый закат солнца, говорит Еве:

Смотри, мой друг, где солнце засияло?
Как мы из рая вышли в этот лес,
Как утешительно оно играло
На том краю лазоревых небес!
Зачем же сбросило лучи на горы?
Ужель оно светить не хочет нам?
Напрасно ли порадовало взоры
И скажет ли: прости—печальным небесам?
Всё рассыпается по горным скатам;
Едва не скрылося за дальний неба край.
Ужель нас создал бог к одним утратам,
И солнце нам утратить, как и рай!
Но вот рассыпалось в бесчисленных лучах:
  Нет солнца, — пусто в небесах!
И вот *нежизнь*, и вот *небытие*!
  Его изгнанье предвещало,
  О нем мне с трепетом сказало
Коварное предчувствие мое.
И солнце говорит! Оно ль обманет
Кто веровать учил меня
И в божий мир, и в прелесть дня?
Оно — и нет его! — Так и меня не станет.

Темнеет лес, и почернели горы,
Умолкли птиц невидимые хоры,
Всё тихо — и душа моя тиха,
Не слышен в ней тяжелый глас греха,
И легче стало отягченной;
Прошел томительный недуг:
Уж не опять ли в рай, мой друг?
Уж не простил ли нас творец вселенной?
Но нет, и тишина обманчива для нас;
Как в этой странной мгле душа полна
сомнений!
Нет отзыва на глас моих мучений:
Ужель правдив предчувствий вещий глас?
Ужели в этой тьме угаснут все надежды?
Но клонит сон отягощенны вежды,
Но тьмой покрыт и лес и небосклон;
Скажи мне, друг, что это: смерть иль сон?

(Луна и звезды засветились; они пробуждаются)

Где мы, мой друг? — Все тот же лес,
Но отчего ж светло? — Взгляни на свод
небес:
О как торжественно, прекрасно!
О сколько там лучей горит!
В душе, как в небесах, так весело, так ясно!
Нет, не умрем: мне небо говорит.
О друг! что солнце нам скрывало?
Оно, изменное, прошло.
И сколько солнцев так светло,
Так радостно на небе воссияло!
И все они меня к себе зовут;
Я слышу — дружно вопиют:
Нас создал бог единый, бесконечный!

Как ты, мы в лоне бога вечны!
Я верю им, я вечен, смерти нет.
Бессмертия завет! О тайна ночи!
Тебя скрывал от взоров солнца свет,
Но в тьме светил ночных тебя познали очи!
О сколько там миров! везде, всегда живи,
Адам; твоя ли жизнь минется,
Когда душа в тебе отважно к небу рвется,
Когда полна к предвечному любви?

1826

СОН

Мне бог послал чудесный сон:
Преобразилася природа,
Гляжу — с заката и с восхода,
В единый миг на небосклон
Два солнца всходят луч зарных
В порфирах огненно-янтарных —
И над воскреснувшей землей
Чета светил по небокругу
Течет во сретенье друг другу.
Все дышит жизнию двойной:
Два солнца отражают воды,
Два сердца бьют в груди природы —
И кровь ключом двойным течет
По жилам божия творенья,
И мир удвоенный живет
В едином миге два мгновенья.

И с сердцем грудь полуразбитым
Дышала вдвое у меня, —
И *двум* очам полузакрытым
Тяжел был свет *двойного* дня.
Мой дух предчувствие томило:
Ударит полдень роковой,
Найдет светило на светило,
И сокрушительной войной

Небесны огласятся своды,
И море смерти и огня
Польется в жилы всей природы:
Не станет мира и меня...
И на последний мира стон
Последним вздохом я отвечу. —
Вот вижу роковую встречу,
Полудня слышу вещий звон:
Как будто молний миллионы
Мне опаляют ясный взор,
Как будто рвутся цепи гор,
Как будто твари слышны стоны...
От треска рухнувших небес
Мой слух содрогся и исчез.
Я бездыханный пал на землю.
Прошла гроза — очнулся — внемлю:
Звучит гармония небес,
Как будто надо мной незримы
Егову славят серафимы.
Я пробуждался ото сна —
И тихо открывались очи,
Как звезды в мраке бурной ночи, —
Взглянул горе: прошла война;
В долинах неба осиянных ;
Не видел я двух солнцев бранных—
И вылетел из сердца страх!
Прозрел я смелыми очами
И видел: светлыми семьями
Сияли звезды в небесах.

1826—1827

ЧЕТЫРЕ НОВОСЕЛЬЯ

(На новоселье И. В. Киреевскому)

Здорово, друг, на новоселье!
Да перейдет сюда с тобой
Твой верный друг и домовой —
Твое душевное веселье,
И да отсель отгонит прочь
Немую праздность — лени дочь,
Тоску и мертвое безделье!
Ты просишь дара, друг? — Изволь:
Живи средь нас, живи век целой,
Живи сто лет, да дело делай!
Желанье дружбы в чувствах зрелой
Тебе да будет хлеб и соль!
Иду к тебе не на безделье;
Я задаю тебе вопрос,
Чтоб ты в ответ мне произнес:
Ты на котором новоселье
Пируешь жизни светлый пир,
С тех пор как выглянул на мир?
Четыре раза, друг, известно
Судила нам природа-мать
На новоселье пировать.

Когда из родины небесной
В страну выходим бытия
(О том как часто слышал я

В часы бессонницы докучной
Рассказы няни неотлучной)
И, гости юные земли,
Не знаем мы, за чем пришли:
За делом или за бездельем,
И не глядя на жизни цель,
Мы чистым тешимся весельем, —
Тогда нам служит *новосельем*
Родная грудь и колыбель.
Пока мы в силах не созрели,
Как сладко, беззаботно спим,
И как смирнехонько лежим,
Граждане тесной колыбели!
Вот из нее пускают нас
И под присмотром зорких глаз
Чуть ножки начинаем двигать,
Потом ходить, потом и прыгать,
Потом смелей — и с глаз долой
Мы скачем резвою ногой
Сначала в сад, а там и в поле,
А там на пир к любезной воле
Летим в дремучие леса,
На горы, в волны, в небеса.
Земля, огонь, эфир и волны,
Стихии мира нами полны:
Везде кочуем и живем,
Миры душою облетаем
И песни звучные поем
И ими небо оглашаем,
И, населив собою мир,
Граждане мира и свободы,
На новоселье у природы
Пируем мы веселый пир.

Но вдруг среди цветов весны,
Меж игр труда и наслажденья,
Мелькнет нам светлое виденье,
Как посетитель с вышины,
Как неземное вдохновенье.
Два солнца вспыхнут в двух очах,
Багрянец роз в уста сольется —
И девы в пламенных чертах
Вся прелесть мира разовьется,
И звезд блестящая краса,
И голубые небеса.
Тогда в восторге сердца ясном
Узришь пылающей душой
Весь мир гармонии святой
В одном созданни прекрасном,
Его своим ты назовешь,
И, позабыв о прежних братьях,
О мире — в пламенных объятьях
Ты всю вселенную сожмешь,
Обнимешь мир двойной душою,
Двойную жизнь зажжешь в крови,
Упьешься сладостью двойною
На новоселье у любви.

Того судьба благословляет,
Тот сын возлюбленный богов, —
Кого до гроба провожает
Подруга верная — любовь.
О том всех душ одно моленье;
Но слух завистливой судьбы
Не внемлет пламенной мольбы...
Она разрушит наслажденье,
Воздвигнет над тобой грозу,

Перуном разорвет объятья
И выжмет из очей слезу...
Тогда сдержи в устах проклятья,
Не извергай из них хулы,
Но презрев ярость океана,
Сквозь мглу печального тумана,
Ты бодро раздвигай валы
Рукою смелой и свободной,
И вслед за верой путеводной
На глас ее плыви, спеши
Ко светлой пристани души.
Войди в нее: там мир богатый
Предстанет плачущим очам,
Там возвратишь свои утраты,
И счастье прочно будет там.
Все юной жизни впечатленья,
Все мимолетные виденья
И все сокровища твои,
Что собрал ты в златые годы
На новоселье у природы,
На новоселье у любви,—
Ты все найдешь в своей вселенной,
Вместишь всю жизнь в душе своей,
И вместо солнца будет в ней
Светить — в красе преображенной
Подруги образ возвращенной.
Тогда в самом себе, в тиши
Благоговенья, созерцанья,
Ты утолишь свои желанья
На новоселье у души.

Итак, мой друг, я жду ответу:
Будь верен дружества завету,

Душою чистой безо лжи
Святую правду мне скажи:
Ты на котором новоселье
В гостях у жизни пьешь веселье?
Смелее, друг! — Коль на втором,
Скорее третьего желаю;
А если ты уже на нем,
То чистым сердцем поздравляю.
Господь тебя благослови
На новоселье у любви!
Пируй у ней, пируй, мой милый,
И весели живую кровь,
И проводи тебя любовь
Спокойно, верно до могилы.
1827

ЗВУКИ

(К N. N.)

Три языка всевышний нам послал,
Чтоб выражать души святые чувства:
Как счастлив тот, кто от него приял
И душу ангела и дар искусства.

Один язык *цветами* говорит:
Он прелести весны живописует,
Лазурь небес, красу земных харит,
Он взорам мил, он взоры очарует.

Он оттенит все милые черты,
Напомнит вам предмет душой любимой,
Но умолчит про сердца красоты,
Не выскажет души невыразимой.

Другой язык *словами* говорит,
Простую речь в гармонию сливает
И сладостной мелодией звучит
И скрытое в душе изображает.

Он мне знаком: на нем я лепетал,
Беседовал в дни юные с мечтами,
Но много чувств я в сердце испытал
И их не мог изобразить словами.

Но есть язык прекраснее того:
Он вам знаком — о нем себя спросите.
Не знаю — где слыхали вы его,
Но вы на нем так сладко говорите.

Кто научил вас трогать им до слез?
Кто шепчет вам те сладостные *звуки*,
В которых вы и радости небес
И скорбь души — земные сердца муки, —

Всё скажете — и всё душа поймет,
И каждый звук в ней чувством отзовется:
Вас слушая, печаль слезу отрет,
А радость вдвое улыбнется.

Родились вы под счастливой звездой,
Вам послан дар прекрасного искусства,
И с ясною чувствительной душой
Вам дан язык для выраженья чувства.

1827?

МЫСЛЬ

Падет в наш ум чуть видное зерно
И зреет в нем, питаясь жизни соком;
Но придет час, и вырастет оно
В создании иль подвиге высоком.
И разовьет красу своих рамен,
Как пышный кедр на высотах Ливана:
Не подточить его червям времен;
Не смыть корней волнами океана;
Не потрясти и бурям вековым
Его главы, увенчанной звездами,
И не стереть потопом дождевым
Его коры, исписанной летами.
Под ним идут неслышною стопой
Полки веков — и падают державы,
И племена сменяются чредой
В тени его благословенной славы.
И трупы царств под ним лежат без сил,
И новые растут для новых целей,
И миллион оплаканных могил,
И миллион веселых колыбелей.
Под ним и тот уже давно истлел,
Во чьей главе зерно то сокрывалось,
Отколь тот кедр родился и созрел,
Под тенью чьей потомство воспиталось.

1828

СТАНСЫ

Когда безмолвствуешь, природа,
И дремлет шумный твой язык,
Тогда душе моей свобода,
Я слышу в ней призывный клик.

Живее сердца наслажденья,
И мысль возвышенна, светла;
Как будто в мир преображенья
Душа из тела перешла.

Ее обнял восторг спокойной
И песни вольные живей
Текут рекою звучной, стройной,
В святом безмолвии ночей.

Когда же мрачного покрова
Ты сбросишь девственную тень,
И загремит живое слово,
И яркий загорится день:

Тогда заботы докучают
И гонит труд души покой,
И песни сердца умолкают,
Когда я слышу голос твой.

1828

НОЧЬ

Как ночь прекрасна и чиста,
Как чувства тихи, светлы, ясны!
Их не коснется суета,
Ни пламень неги сладострастный!

Они свободны, как эфир;
Они, как эти звезды, стройны, —
Как в лоне бога спящий мир,
И величавы и спокойны.

Единый хор их слышу я,
Когда всё спит в странах окрестных!
Полна, полна душа моя
Каких-то звуков неизвестных.

И всё, что ясно зрится в день,
Что может выразиться словом,
Слилося в сумрачную тень,
Облечено мечты покровом.

Неясно созерцает взор,
Но всё душою дозреваешь:
Так часто сердцем понимаешь
Немого друга разговор.

1828

ЦЫГАНСКАЯ ПЛЯСКА

Видал ли ты, как пляшет египтянка?
Как вихрь она столбом взвивает прах,
Бежит, поет, как дикая вакханка,
Ее власы, как змеи, на плечах...

Как песня вольности она прекрасна,
Как песнь любви она души полна,
Как поцелуй горячий сладострастна,
Как буйный хмель неистова она.

Она летит, как полный звук цевницы,
Она дрожит, как звонкая струна,
И пышет взор, как жаркий луч денницы
И дышит грудь, как буйная волна.

1828

ЦЫГАНКА

«Как ты, египтянка, прекрасна!
Как полон чувства голос твой!
Признайся: страсти роковой
Служила ты, была несчастна?
Зачем на черные глаза
Нашла блестящая слеза?
Недаром смуглые ланиты
Больною бледностью покрыты».—

«В печальных песнях, в грустном взоре
Прочел ты прежде мой ответ:
Зачем тебе чужое горе,
Иль своего на сердце нет?
Моя тоска живет со мною,
Я ей ни с кем делиться не могла:
Она сроднилася с душою,
Она лишь мне одной мила».—

«Пусть с равнодушными сердцами
Ты не делилася слезами;
Но кто с тобою слезы льет,
Кто тронут был твоею песней,
Кому сама ты песен всех прелестней,
Цыганка, тот тебя поймет».—

«Когда судьбы нещадная рука
Отнимет у жены супруга,
То неизменная тоска
Заменит ей утраченного друга.
Есть прихоти у пламенной любви,
Несчастье также прихотливо:
Не трогай же страдания мои,
Я их люблю, я к ним ревнива».

1828

ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ

Добры люди, вам спою я,
Как цыганы жизнь ведут;
Всем чужие, век кочуя,
Бедно бедные живут.

Но мы песнями богаты,
Песня — друг и счастье нам:
С нею радости, утраты
Дружно делим пополам.

Песня всё нам заменяет,
Песнями вся жизнь красна,
И при песнях пролетает
Вольной песенкой она.

828

ТАИНСТВО ДРУЖБЫ

Есть рана в сердце у меня
И вечно истекает кровью:
Ее в печальной жизни я
Ношу с заботливой любовью.
Пока мой друг живет со мной,
Ее носить не перестану:
Он мне целительной рукой
Нанес ту сладостную рану,
И сквозь нее в душе моей
Он зрит все чувства, все желанья,
И огнь любви, и пыл страстей,
И сердца тайные страданья.
Так путник трепетный стоит
В вечерний час богослуженья
У окон храма, и глядит, —
И видит там в дыму куренья,
При ярком свете ламп златых
Святую храмину владыки,
И ангелов небесных лики,
И лица грешников земных.
Так в храм души моей чудесный
Мой друг свой чистый взор вперил
И благодатию небесной
Мой мир нечистый посетил.
И он проник в него глубоко,

И дух мой стал ему открыт;
Я мню: в очах его глядит
Творца всевидящее око.
Он силой пламенных очей
Без грешных чар и без искусства,
На алтаре души все чувства
Зажег огнем души своей,
И дружбы таинство святое
Под грозной клятвой совершил,
И все нечистое в благое
Священным чудом превратил.
Не отходи, мой друг-хранитель!
Души святыню стереги,
Да не прокрадутся враги
В ее смиренную обитель!
И совесть дикая порой
Да не смутит ее упреком,
И ты неотвратимым оком
Да не воздремлешь надо мной!
Когда ж оно закроет вежды,
Тогда без друга, без надежды,
Осиротев, один душой,
Утратив верную охрану,
Я заложу святую рану.
И затворю души окно...
В ней будет пусто и темно,
Иссякнет жизнь остывшей крови,
И вместе с пламенем любви,
С святого жизни алтаря
Умчится пламя бытия.

2 октября 1828

ПАРТИЗАНКЕ КЛАССИЦИЗМА

Расцветши пламенной душой,
В холодных недрах стен гранитных
Не любит мирный гений твой
Моих стихов кровопролитных.
Тебя еще пугает кровь,
Тебя еще пугают раны,
Пока волшебные обманы
Таят от глаз твоих любовь.
Зарей классического мира
Горит твой ясный небосклон;
Крылами мрачного Шекспира
Еще он не был отягчен.
Блуждаешь ты под тенью света,
И тучи, шумною грозой,
Как тени Банко и Гамлета,
Не проносились над тобой.
У охраненной колыбели,
Где древних песен тихий звон
Лелеет твой беспечный сон,
Громовой песни не пропели,
Не нарушали ею сна
Судьбы таинственные жрицы;
Еще незнанья пелена
Хранит спокойные зеницы.
В садах Омира бродишь ты

И безопасно и небрежно,
Своей рукой срывая нежно
Благоуханные цветы, —
И кровью пламенной облитый
Шекспира грозного кинжал,
В цветах змеею ядовитой
Перед тобою не сверкал.
Под тяжким бременем кручины,
С своей аттической долины
От света, горя, суеты,
Во мрак готического храма,
В мир таинства и фимиама
Еще не убегала ты,
Не знала мук ревнивой мести,
Неправых жребия угроз;
Не отирала горьких слез
Святой страницей благовестий.
Вся жизнь твоя — волшебный рай;
Останься так, живи ты доле
В своей классической неволе,
Под небом Аттики гуляй,
И цвет небес ее эфирных
В своих очах лазурных, мирных,
Ты долго, долго отражай.
Под охранительной любовью
Да не сразит тебя беда:
Да не полюбишь никогда
Моих стихов, облитых кровью.
1829

НОЧЬ

Немая ночь! прими меня,
Укрой испуганную думу;
Боюсь рассеянного дня,
Его бессмысленного шуму.
Там дремлют праздные умы,
Лепечут ветреные люди,
И свет их пуст, как пусты груди.
Бегу его в твои потьмы,
Где смело думы пробегают,
Не сторожит их чуждый зрак,
Где искры мыслей освещают
Кипящий призраками мрак.
Как все в тебе согласно, стройно!
Как ты велика и спокойна!
И скольких тайн твоя полна
Пророческая тишина!
Какие думы и порывы
Ты в недрах зачала святых,
И сколько подвигов твоих
Присвоил день самолюбивый!

О ночь! на глас любви моей
Слети в тумане покрывала;
Под чистой ризою твоей
Не скрою...

Не в соучастницы греха,
Не на кровавое свиданье,
Мольбой смиренного стиха,
Зовет тебя мое желанье.
Я чист — и, чистая, ко мне
Простри горящие объятья,
И нарисуй в волшебном сне:
Где други сердца, мысли братья!
И коль утраты суждены,
Не откажи ты мне в участьи,
И звуком порванной струны
Не вдруг пророчь мне о несчастьи.
В душе потонет тяжкий стон,
Твоей тиши я не нарушу;
Любовник ждет; сведите сон
И всех друзей в родную душу.

Июнь 1829

К НЕПРИГОЖЕЙ МАТЕРИ

Пусть говорят, что ты дурна,
Охрип от стужи звучный голос,
Как лист сосновый, жесток волос
И грудь тесна и холодна;
И серы очи, стан нестроен,
Пестра одежда, груб язык,
Твоих соперниц недостоин
Обезображенный твой лик.
Но без восторженной улыбки
Я на тебя могу ль взирать?
Как ты умела побеждать
Судьбы неправые ошибки!
Каких ты чад произвела!
Какое племя дщерей славных,
Прекрасных, милых, тихонравных,
Ты свету гордо отдала!
Уж не на них ли расточила
Дары богатой красоты?
Или искусством изменила
Свои порочные черты?
Суровость в пламенную важность
И хлад в спокойствие чела,
И дерзость в гордую отважность,
В великость духа перешла.
Не ты ли силою чудесной

Одушевила в них потом
Чело возвышенным умом,
И грудь гармонией небесной,
И очи серые огнем?
Не ты ль, по древнему владенью,
Водила их в свои леса,
При шуме их — учила пенью,
У вод как строить голоса,
И нежной лаской приветов
Одушевлять мечту поэтов?

Пускай твердят тебе в укор,
Про жгущий, сладострастный взор
Красавицы давно известной,
Полуизмученно-прелестной,
Любимой солнцем и землей,
Сожженной от его дыханья,
От ядовитого лобзанья,
Полуослабшей и худой.
И я прославленную видел,
И думал прежде обожать;
Но верь, моя дурная мать,
Тебя изменой не обидел.
Она явилась предо мной
В венке из мирт и винограда.
Водила жаркою рукой
Меня по сеням вертограда.
И кипарис и апельсин
В ее власах благоухали;
Венки цветов на злак долин
Одежды легкие стрясали.
Во взорах тлелся черный зной,
Печать любови огневой:

На смуглом образе томленье,
Какой-то грусти впечатленье
Изображалось предо мной.
Желая знать печали бремя,
Спросил нетерпеливо я:
«Да где ж твое живое племя,
Твоя великая семья?»
Она поникла и молчала,
И слезы сыпались ручьем,
И что же .. трепетным перстом
Она на гробы указала.
И я бродил с ней по гробам,
И в недра нисходил земные,
И слезы приносил живые
Ее утраченным сынам.
Она с рыданьем однозвучным
Сказала: «здесь моя семья,
А там — одна скитаюсь я
С моим любовником докучным!»
Когда же знойные глаза,
В припадке суетной печали,
Тягчила полная слеза —
Твои же дщери утешали
Чужую мать и сироту,
И ей утешно воспевали
Ее живую красоту.

Светлей твои сверкают взоры,
Они надеждою блестят,
Они, как в небе метеоры,
Обетованием горят.
Их беспокойное сиянье

Пророчит тлеющий в тиши
Огонь невспыхнувшей души
И несвершенное желанье.
Ужель в тебе не красота
Твоя загадочная младость,
Неистощенные лета
И жизни девственная радость?..
Пусть ты дурна, пускай мечту
В тебе бессмысленно ласкаю;
Но ты мне мать: я обожаю
Твою дурную красоту.

Июль 1829

ПЕТРОГРАД

Море спорило с Петром:
«Не построишь Петрограда;
Покачу я шведский гром,
Кораблей крылатых стадо.
Хлынет вспять моя Нева,
Ополченная водами:
За отъятые права
Отомщу ее волнами.

Что тебе мои поля,
Вечно полные волнений?
Велика твоя земля,
Не озреть твоих владений!»
Глухо Петр внимал речам:
Море злилось и шумело,
По синеющим устам
Пена белая кипела.

Речь Петра гремит в ответ:
«Сдайся, дерзостное море! —
Нет, — так пусть узнает свет:
Кто из нас могучей в споре?
Станет град же наречен
По строителе высоком:

•

Для моей России он
Просвещенья будет оком.

По хребтам твоих же вод,
Благодарна, изумленна,
Плод наук мне принесет,
В пользу чад моих, вселенна, —
И с твоих же берегов
Да узрят народы славу
Руси бодрственных сынов
И окрепшую державу».

Рек могучий — и речам
Море вторило сурово,
Пена билась по устам,
Но сбылось Петрово слово.
Чу!.. в Рифей стучит булат!..
Истекают реки злата,
И родится чудо-град
Из неплодных топей блата.

Тихой движется стопой
Исполин — гранит упорный,
И приемлет вид живой,
Млату бодрому покорный.
И в основу зыбких блат
Улеглися миллионы:
Всходят храмы из громад
И чертоги и колонны.

Шпиц, прорезав недра туч,
С башни вспыхнул величавый,
Как ниспадший солнца луч,
Или луч Петровой славы.

Что чернеет лоно вод?
Что шумят валы морские?
То дары Петру несет
Побежденная стихия.

Прилетели корабли,
Вышли чуждые народы,
И России принесли
Дань наук и плод свободы.
Отряхнув она с очей
Мрак невежественной ночи,
К свету утренних лучей
Отверзает бодры очи.

Помнит древнюю вражду,
Помнит мстительное море,
И да мщ нья примет мзду,
Шлет на град потоп и горе.
Ополчается Нева,
Но от твердого гранита,
Не отъяв св ои права,
Удаляется сердита,

На отломок диких гор
На коне взлетел строитель:
На добычу острый взор
Устремляет победитель;
Зоркий страж своих работ
Взором сдерживает море
И насмешливо зовет:
«Кто ж из нас могучей в споре?»

9 августа 1829

ОЧИ

Видал ли очи львицы гладной,
Когда идет она на брань
Или с весельем коготь хладной
Вонзает в трепетную лань?
Ты зрел гиену с лютым зевом,
Когда грызет она затвор?
Как раскален упорным гневом
Ее окровавленный взор!
Тебе случалось в мраке ночи,
Во весь опор пустив коня,
Внезапно волчьи встретить очи,
Как два недвижные огня?
Ты помнишь, как твой замер голос,
Как потухал в крови огонь,
Как подымался дыбом волос
И подымался дыбом конь?
Те очи — страшные явленья!
Я знаю очи тех страшней:
Не позабыть душе моей
Их рокового впечатленья!
Из всех огней и всех отрав
Огня тех взоров не составишь
И лишь безумно обесславишь
Наук всеведущий устав.
От них всё чувство каменеет,

Их огнь и жжет и холодит;
При мысли сердце вновь горит,
И стих, робея, леденеет.
Моли всех ангелов вселенной,
Чтоб в жизни не встречать своей
Неправой местью раздраженной,
Коварной женщины очей.

Осень 1829

ЖЕНЩИНЕ

Ты асмодей иль божество!
Не раздражай души поэта!
Как безотвязная комета,
Так впечатление его:
Оно пройдет и возвратится,
Кинжалом огненным блеснет,
В палящих искрах раздробится,
Тебя осыплет и сожжет.

Осень 1829

ТЯЖЕЛЫЙ ПОЭТ

Как гусь, подбитый на лету,
Влачится стих его без крылий
По напряженному лицу
Текут следы его усилий.
Вот после муки голова
Стихами тяжко разродилась:
В них рифма рифме удивилась,
И шумно стреснулись слова.

Не в светлых снах воображенья
Его поэзия живет;
Не в них он ловит те виденья,
Что в звуках нам передает;
Но в душной кузнице терпенья,
Стихом как молотом стуча,
Кует он с дюжего плеча
Свои чугунные творенья.

Ноябрь 1829

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Звуком ангельского хора
Полны были небеса;
В светлой скинии Фавора
Совершались чудеса.
Средь эфирного чертога,
В блеске славы и лучей,
Созерцали образ бога
Илия и Моисей.

В то мгновенье, над Фавором
Серафим, покинув лик,
Вожделенья полным взором
К диву горнему приник.
Братья пели; но, счастливый,
Он их звукам не внимал,
И украдкой, молчаливый,
Тайну бога созерцал.

И в небесное селенье
Возвратился серафим;
Лучезарное виденье
Неразлучно было с ним.
И полетом неприметным
Век за веком пролетел:

Лишь о нем в эфире светлом
Братьям внемлющим он пел.

Раз, затерянные звуки
Долетели до земли:
Сколько слез, молитв и муки
Звуки те произвели!
Не одна душа, желаньем
Истомясь узреть Фавор,
С несвершенным упованьем
Отлетела в божий хор.

К тем молениям создатель
Слух любови преклонил:
Божьей тайны созерцатель
К нам на землю послан был.
Ангел смелый в наказанье
С жизнью принял горе слез;
Но свое воспоминанье
Он в усладу взял с небес.

Духом божьим вышний гений
Осенился с первых лет,
И утраченных видений
Рано в нем проснулся свет.
Слезы лья по небе ясном,
Сквозь их радужный кристалл,
Он в величии прекрасном
Чистых братьев созерцал.

И любил, осиротелый,
Думой в небо залетать,

И замыслил кистью смелой
К прочной ткани приковать
Возвращенные виденья,
Часто, облаком живым,
В миг великого прозренья,
Пролетавшие пред ним.

Вспоминал, как в мир призванный
Он на лоне свежих крил,
Гость небес богоизбранный,
За создателем парил;
Как с крылатым роем братий
В день творенья нес дары;
Как из божеских объятий
Всюду сыпались миры.

Он означил, как стопами
Бог раздвинул свет и тьму;
Как повесил над звездами
В небе солнце и луну;
Как по остову планеты
Океан перстом провел;
Как из недр ее без сметы
Сонм творений произвел.

Раз, томясь своей утратой,
Наяву он видел сон:
Вдруг молитвою крылатой
В небо был перенесен;
Слышал ангелов напевы,
Сонмы их изобразил.
И в среде их образ девы
Кистью быстрой уловил.

Но любимое виденье,
Что утратил серафим,
В недоступном отдаленье,
Всё туманилось пред ним.
Тщетно не смыкались вежды
И пылал молитвой взор:
Погасал уж луч надежды, —
Не сходил к нему Фавор.

Что земные краски тленья,
Солнца пышные лучи? —
Пред лучом преображенья,
Как пред солнцем блеск свечи.
К смерти шествовал унылый,
Не сверша души завет,
И в расселинах могилы
Что ж он видит? — божий свет!..

Луч сверкнул... и воспылала
Кисть божественным огнем;
Море яркого кристалла
Пролилось над полотном...
И уж бога лик открытый
Он очами ясно зрел;
Но видением несытый,
Бросил кисть... и улетел!

Там его виденье вечно;
Там, без горя и без слез,
Созерцает он беспечно
Диво тайное небес,

У Фавора величавый
Стражем стал — и на крылах
Свет божественныя славы
Блещет в радужных лучах.

Рим. 3 декабря 1829 г.

ТИБР

Варвар севера надменной
Землю Рима хладно мнет
И с угрозой дерзновенной
Тибру древнему поет:

«Тибр! ты ль это? чем же славен?
Что добра в твоих волнах?
Что так шумен, своенравен
Расплескался в берегах?

Тесен, мутен!.. — не завидно
Прокатил тебя твой рок!
Солнцу красному обидно
Поглядеться в твой поток.

Не гордись! — Когда б ты — горе!
Нашу Волгу увидал,
От стыда, от страха б в море
Струи грязные умчал.

Как парчою голубою
Разостлалась по степям!
Как привольно в ней собою
Любоваться небесам!

Как младой народ могуча,
Как Россия широка,
Как язык ее гремуча
Льется дивная река!

Далеко валы широки
Для побед отважных шлет,
И послушные потоки
В царство влажное берет.

Посмотрел бы ты, как вскинет
Со хребта упорный лед
И суда свои подвинет
Да на Каспия пойдет!

О когда бы доплеснула
До тебя ее волна, —
Словно каплю бы сглотнула
И в свой Каспий унесла!»

Тибр в ответ: «Ужели, дикий,
Мой тебе невнятен вой?
Пред тобою Тибр великий
Плещет вольною волной.

Славен я между реками
Не простором берегов,
Не богатыми водами,
Не корыстию судов; —

Славен тем я, Тибр свободной,
Что моих отважных вод

Цепью тяжкой и холодной
Не ковал могучий лед!

Славен тем, непобежденной,
Что об мой несдержный вал
Конь подковою презренной
В гордом беге не стучал.

Пусть же реки на просторе
Спят под цепью ледяной:
Я ж бегу, свободный, в море
Неумолчною волной.

8—10 декабря 1829

К [КНЯГИНЕ] З. А. В[ОЛКОНСК]ОЙ

К Риму древнему взывает
Златоглавая Москва
И любовью окрыляет
Хладом сжатые слова:

«Древней славой град шумящий,
Приими привет Москвы,
Юной славою гремящей
В золотых устах молвы.

Я в призор твой благосклонный
Доверяю, царь градов,
Лучший перл моей короны,
Лучший цвет моих садов.

И не с завистью ревнивой
Цвет родной вручаю я:
Нет, с тоской чадолюбивой
Отрываю от себя.

Нежно я его растила,
С бескорыстием любви
На него я расточила
Все сокровища свои.

Но не может ненаглядный
Он на севере блеснуть:
Руки матери так хладны,
Льдом моя одета грудь.

Что же делать мне несчастной?
На чужбину цвет отдать,
Коль не может он, прекрасной,
У меня благоухать.

У тебя светило наше
Льет роскошней теплый свет;
У тебя и небо краше:
Так возьми к себе мой цвет!

И согрей с любовью нежной
У пылающей груди,
На могилах славы прежней
В нем цветущее блюди.

Только б он в лавровых сенях,
У тебя красой цветя,
О моих любовных пенях,
Помнил, — милое дитя.

Сам любуйся на созданье
Наших северных степей;
Но его благоуханье
В сень родную перелей».

Рим. 15/3 декабря (1829)

ХРАМ ПЕСТУМА

«Храм пустынный, храм великой!
Кто назло лихой судьбы
Здесь, в степи больной и дикой,
Взгромоздил твои столбы?» —

«Древле, древле, как изгнали
Вы отселе божество,
Вихри времени умчали
Имя звучное его.

Всё вокруг меня — могила;
Память стен моих ветха,
И она не сохранила
В славу зодчему стиха». —

«Кто ж, скажи, о храм чудесной,
Гладко камень твой точил?
Или влагою небесной
Гневный бог тебя губил?» —

«На меня ходило море,
Подо мной тряслась земля,
Все стихии были в споре,
Кто скорей сотрет меня!

Степь и ныне дышит ядом,
Точат гады плоть мою,
Но на зло чуме и гадам
Невредимый — я стою».—

«Но скажи, страдалец правой,
О добыча праздных лет!
На колонне величавой
Что за раны черный след?» —

«Этой раной Зевс ревнивой
Мстил за мой бессмертный век,
И десной молньеточивой
Стены праздные рассек.

Здесь — лобзание перуна!
Странник, преклонись челом.
Бил меня и жезл Нептуна,
Бил меня и Зевсов гром.»

До января 1830

К РИМУ

Когда в тебе, веками полный Рим,
По стогнам гром небесный пробегает
И дерзостно раскатом роковым
В твои дворцы и храмы ударяет:
Тогда я мню, что это ты гремишь,
Во гневе прах столетий отрясаешь,
И сгибами виссона шевелишь,
И громом тем Сатурна устрашаешь.

Декабрь 1829

СТАНСЫ РИМУ

По лествице торжественной веков
Ты в славе шел, о древний град свободы!
Ты путь свершил при звоне тех оков,
Которыми опутывал народы.
Все вслед тебе, покорное, текло,
И тучами ты скрыл во тьме эфирной
Перунами сверкавшее чело,
Венчанное короною всемирной.

Но ринулись посланницы снегов,
Кипящие метели поколений, —
И пал гигант, по лествице ж веков,
Биясь об их отзывные ступени.
Рассыпалась, слетев с главы твоей,
На мелкие венцы корона власти!
. . . .
. . . .

Но путь торжеств еще не истреблен,
Проложенный гигантскими пятами:
И Колизей, и мрачный Пантеон,
И храм Петра стоят перед веками.
В дар вечности обрек твои труды
С тобой времен условившийся гений,

Как шествия великого следы,
Не стертые потопом изменений.

Декабрь 1829

СТЕНЫ РИМА

Веками тканая величия одежда!
О каменная летопись времен!
С благоговением, как набожный невежда,
Вникаю в смысл твоих немых письмен.
Великой буквою мне зрится всяк обломок,
В нем речи прерванной ищу следов...
Здесь всё таинственно — и каждый камень громок
Отзывами отгрянувших веков.

Начало 1830

ДВЕ РЕКИ

Из единого истока
На родную грудь земли
Два кристальные потока
Тихоструйно истекли.
Истекли — и разлучились,
Но, кляня враждебный рок,
Волны верные любились,
Помня свой родной исток.

На чужбины брег далекой
Занесен с своих полей,
Так Налии одинокой
Издали журчал Пеней:
«Жажда вод моих, Налия!
Там, где ты, лугов краса,
Стелешь струи голубые,
Чисты ль, светлы ль небеса?

Ток мой ясен: над брегами
В нем глядится пышный сад:
Розы, лавры и кистями
Наклоненный виноград.
Облака сребром трепещут
В зыбком зеркале струи;

Мимолетом часто блещут
Белокрылые ладьи.

Песни слышатся живые;
Берег светлый, но чужой,
Имя звучное — *Налия*!
Повторяет за волной.
Много рек вокруг златится,
Но их ток не нужен мне, —
И волна моя стремится
Все к Налиной волне.

Скоро ль, скоро ль вожделенный
Тот проглянет светлый день,
Как с чужбины, утомленный,
Притеку в родную сень?
С той же ль лаской друга примешь?
Верно ль ток усталый мой
Ты с любовию обнимешь
Неизменною волной?»

Из родных полей Налия
Другу так журчит в ответ:
«Любят волны голубые,
Но грозит преградой свет.
Он твердит: дары любови
У меня не суждены
Ни сердцам единой крови,
Ни рекам одной волны».—

«Утечем же в степь изгнанья,
Где ни скал, ни камней нет,
Где любовного слиянья

Не услышит строгий свет.
Если ж там мы, беззащитно,
Волн своих не можем слить,
На себе клянусь неслитно
Ток твой девственный носить.

Скрывшись в дебри, в мрак лесистый
Ясных струй твоих красу,
Как елей прозрачно-чистый,
Не слияв туда снесу,
Где все реки притекают
Со четы́рех мира стран,
И течения сливают
В беспредельный океан.

Январь 1830

[ПЕДАНТАМ-ИЗЫСКАТЕЛЯМ]

Стен городских затворник своенравный,
Сорвав в лесу весенний, первый цвет,
Из-под небес, из родины дубравной,
Несет его в свой душный кабинет.
Рад человек прекрасного бессилью!
Что в нем тебе? Зачем его сорвал?
Чтоб цвет живой, затертый едкой пылью,
Довременно и без плода извял.

Так жизни цвет педант ученый косит,
И жаждою безумной увлечен,
Он в мертвое ученье переносит
есь быт живой народов и времен.
В его устах все звуки замирают,
От праотцов гласящие живым,
И в письменах бесплодно дотлевают
Под пылью букв и Греция и Рим.

Нет, не таков любитель светлой флоры
От давних жатв он копит семена;
Дохнет весна — и разбежались взоры:
Живым ковром долина устлана.
Равно поэт в себе спасает время,
Погибшее напрасно для земли,
И праздный век, увянувшее племя,
Пред ним опять волшебно расцвели.

10 февраля 1830

В АЛЬБОМ

Бывало, скиф, наш предок круглолицей,
Склонив к рукам закованным главу,
Смиренно шел за римской колесницей,
Служа рабом чужому торжеству. —
А ныне скиф гордится, созерцая,
Как дочери его родной земли
Красою чувств возвышенных сияя,
На торжество в Рим древний притекли;
Как их душа в развалинах пылает;
Как римлянин, как данник в свой черед,
Их кроткий плен с покорностью несет
И языком Петрарки напевает.

Рим, 1830

ФОРУМ

Распаялись связи мира —
Вольный Форум пал во прах:
Тяжко возлегла порфира
На его святых костях.
Но истлел хитон почтенный,
И испуганным очам
Вскрылись веча, там и там,
Порознь кинутые члены.

И стоят печально ныне
Кой-где сирые столпы:
По заброшенной пустыне
Псы гуляют да попы.
Есть же Форума обломки:
Так приялиж от отцов
Благороднейшую кровь
Недостойные потомки!

1830

ПОСЛАНИЕ К А. С. ПУШКИНУ

Из гроба древности тебе привет:
Тебе сей глас, глас неокреплый, юный;
Тебе звучат, наш камертон, поэт,
На лад твоих настроенные струны.
Простишь меня великодушно в том,
Когда твой слух взыскательный и нежной
Я оскорблю неслаженным стихом
Иль рифмою нестройной и мятежной;
Но, может быть, порадуешь себя
В моем стихе своим же ты успехом,
Что в древний Рим отозвалась твоя
Гармония, хотя и слабым эхом.

Из Рима мой к тебе несется стих,
Весь трепетный, но полный чувством тайным,
Пророчеством, невнятным для других,
Но для тебя не темным, не случайным.
Здесь, как в гробу, грядущее видней;
Здесь и слепец дерзает быть пророком;
Здесь мысль, полна предания, смелей
Потьмы веков пронзает орлим оком;
Здесь Дантов стих всю бездну исходил
От дна земли до горнего эфира;

Здесь Анжело, зря день последний мира,
Пророчественной кистью гробы вскрыл.
Здесь, расшатавшись от изнеможенья,
В развалины распался древний мир,
И на обломках начат новый пир,
Блистательный, во здравье просвещенья,
Куда чредой, все племена земли,
Избранники, сосуды принесли;
Куда и мы приходим, с честью равной,
Последние, как древле Рим пришел.
Да скажем наш решительный глагол,
Да поднесем и свой сосуд заздравной! —
Здесь двух миров и гроб и колыбель,
Здесь нового святое зарожденье:
Предчувствием объемлю я отсель
Великое отчизны назначенье!

Когда, крылат мечтою дивной сей,
Мой быстрый дух родную Русь объемлет
И ей отсель прилежным слухом внемлет,
Он слышит там: со плесками морей,
Внутри ее просторно заключенных,
И с воем рек, лесов благословенных,
Гремит язык, созвучно вторя им,
От белых льдов до вод, биющих в Крым,
Из свежих уст могучего народа,
Весь звуками богатый как природа:
Душа кипит!..

Какой тогда хвалой гремлю я богу,
Что сей язык он мне вложил в уста.
Но чьи из всех родимых звуков мне
Теснятся в грудь неотразимой силой?

Всё русское звучит в их глубине,
Надежды все и слава Руси милой,
Что с детских лет втвердилося в слова,
Что сердце жмет и будит вздох заочный:
Твои — певец! избранник божества,
Любовию народа полномочный!
Ты русских дум на все лады орган!
Помазанный Державиным предтечей,
Наш депутат на европейском вече, —
Ты — колокол во славу россиян!

Кому ж, певец, коль не тебе, открою
Вопрос, в уме раздавшийся моем
И тщетно в нем гремящий без покою:
Что сделалось с российским языком!
Что он творит безумные проказы! —
Тебе странна, быть может, речь моя;
Но краткие его развёрнем фазы —
И ты поймешь, к чему стремлюся я.
Сей богатырь, сей Муромец Илья,
Баюканный на льдах под вихрем мразным,
Во тьме веков сидевший сиднем праздным,
Стал на ноги уменьем рыбаря
И начал песнь от бога и царя.
Воскормленный средь северного хлада,
Родной зимы и льдистых Альп певцом,
Окреп совсем и стал богатырем,
И с ним гремел под бурю водопада.
Но отгремев, он плавно речь повел
И чистыми Карамзина устами
Нам исповедь народную прочел, —
И речь неслась широкими волнами:
Что далее — то глубже и светлей;

Как в зеркале, вся Русь гляделась в ней;
И в океан лишь только превратилась,
Как Нил в песках внезапная сокрылась,
Сокровища с собою унесла,
И тайного никто не сметил хода...
И что ж теперь? — вдруг лужею всплыла
В Истории российского народа.

Меж тем когда из уст Карамзина
Минувшее рекою очищенной
Текло в народ: священная война
Звала язык на подвиг современной.
С Жуковским он, на отческих стенах
Развив с Кремля воинственное знамя,
Вещал за Русь: пылали в тех речах
И дух Москвы и жертвенное пламя!
Со славой он родную славу пел,
И мира звук в ответ мечу гремел.
Теперь кому ж, коль не тебе по праву
Грядущую вручит он славу?

Что ж ныне стал наш мощный богатырь?
Он, гальскою диэтою замучен,
Весь испитой, стал бледен, вял и скучен,
И прихотлив, как лакомый визирь,
Иль сибарит, на розах почивавший,
Недужные стенанья издававший,
Когда под ним сминался лепесток.
Так наш язык: от слова ль праздный слог
Чуть отогнешь, небережно ли вынешь,
Теснее ль в речь мысль новую водвинешь,—
Уж болен он, не вынесет, кряхтит,
И мысль на нем как груз какой лежит!

Лишь песенки ему да брани милы;
Лишь только б ум был тихо усыплен
Под рифменный, отборный пустозвон.
Что, если б встал Державин из могилы,
Какую б он наслал ему грозу!
На то ли он его взлелеял силы,
Чтоб превратить в ленивого мурзу?
Иль чтоб ругал заезжий иностранец,
Какой-нибудь писатель-самозванец,
Святую Русь российским языком,
И нас бранил, и нашим же пером?

Недужного иные врачевали,
Но тайного состава не узнали:
Тянули из его расслабших недр
Зазубренный спондеем гекзаметр, [1]
Но он охрип...
И кто ж его оправит?
Кто от одра болящего восставит?..
Тебе открыт природный в нем состав,
Тебе знаком и звук его и нрав.
Врачуй его: под хладным русским Фебом
Корми его почаще сытным хлебом,
От суетных печалей отучи
И русскими в нем чувствами звучи
Да призови в сотрудники поэта
На важные Ираклова дела,
Кого судьба, в знак доброго привета,
По языку не даром назвала:

---

[1] Это не может относиться ни к гекзаметрам Жуковского, ни Гнедича, потому что они не зазубрены спондеями. (*Прим. Шевырева.*)

Чтоб богатырь стряхнул свой сон глубокий
Дал звук густой и сильный и широкий,
Чтоб славою отчизны прогудел,
Как колокол, из меди лит рифейской,
Чтоб перешел за свой родной предел.

Рим. 14 июля 1830

[ПУШКИНУ]

Вменяешь в грех ты мне мой темный стих,
Прозрачных мне не надобно твоих:
Ты нищего ручья видал ли жижу?
Видал насквозь, как я весь стих твой вижу.
Бывал ли ты хоть на реке Десне? —
Открой же мне: что у нее на дне?
Вменяешь в грех ты мне нечистый стих,
Пречистых мне не надобно твоих:
Вот чистая водица ключевая.
Вот Алеатико бурда густая!
Что ж?—выбирай, возьми любой стакан:
Ты за воду... Зато не будешь пьян.

До 2 сентября 1830

ОДА ГОРАЦИЯ ПОСЛЕДНЯЯ

«Что грязен, Тибр? — Струя желта,
мутна!
Иль желчью ты встревожен беспокойной,
И чует то сердитая волна,
Что пьет ее Римлянин недостойной?

Иль от стыда ты бег торопишь свой?
Почто же ты не держишь злой стихии,
Не стелешься кристальною волной
И не глядишь на небо Авзонии?» —

«Мне недосуг: не спит моя волна:
Я мою Рим, я града освятитель:
Я. нагрузив нечистым рамена,
Бегу в поля, усердный их поитель, —

И тороплюсь в безбрежный океан,
Что землю всю водами убеляет:
Приемлет он грехи моих римлян
И с волн моих нечистое смывает.

Но тщетно я, последний гражданин,
Свой правлю долг, в пример, без
укоризны:
Себя несу на жертву я один
Целению и здравию отчизны...»

До 2 сентября 1830

К ФЕБУ

Плодов и звуков божество!
К тебе взывает стих мой смелый:
Да мысль глядится сквозь него,
Как ты сквозь плод прозрачно-спелый;
Да будет сочен и глубок,
Как персик вскормленный лучами,
Точащий свой избытный сок
Благоуханными слезами.

1830

ЧТЕНИЕ ДАНТА

Что в море купаться, то Данта читать:
Стихи его тверды и полны,
Как моря упругие волны!
Как сладко их смелым умом разбивать!
Как дивно над речью глубокой
Всплываешь ты мыслью высокой:
Что в море купаться, то Данта читать.

1830

ТРОЙСТВО

Я, в лучшие минуты окрыляясь,
Мечтой лечу в тот звучный, стройный мир,
Где в тройственный и полный лик
спеваясь,
Поют Омир и Данте и Шекспир, —
И радости иной они не знают,
Как меж собой менять знакомый стих,—
И между тем, как здесь шумят за них,
Как там они друг друга понимают.

1830

ИТАЛИЯ

Лобзай, и жги, и жми меня к устам,
Италия! — в пылу очарованья!
Не изменю, — России передам
Твоим огнем горящие лобзанья.

830

РУССКИЙ СОЛОВЕЙ В РИМЕ

(В альбом М. А В—ой)

«Лавры, тополи густые!
Кто теперь у наших вод
Песни новые, живые
Гармонически поет?
Как полны любовной муки,
Отзываются в струях:
То неведомые звуки
На полуденных брегах!

Часто я, забывшись в беге,
В море волн не тороплю,
И покоясь в звучной неге,
Их дослушивать люблю.
Много песен, голосистой,
Распевает мой народ:
Сей же песни звонкой, чистой
Не слыхать у наших вод».

Лавры, тополи, густыми
Сеньми к Тибру наклонясь,
Шепчут листьями живыми,
В струи желтые глядясь:
«Древний праотцов питатель!

С хладных северных степей
В изумрудную обитель
К нам принесся соловей.

Заунывный, тихий, нежный,
Чувством звук его дрожит;
Голос правильно небрежный
Чистым золотом звенит.
В песне русской, в песне томной
Выливает душу он,
Душу, любящую скромно,
Душу нежных русских жен!»

Тибр и шумная дубрава
Сочетали дружный глас:
«Соловей российский, слава!
Пой нам песни, радуй нас
На наречьи свежем, новом;
Счастье будь твой римский друг,
И тебе приветным словом
Отвечай на каждый звук».

1830

КАМЕНЬ ДАНТА

(В альбом В. Д. П.)

На площади столичной незамечен,
Ничтожный камень в прахе возлежал:
Его прохожий, хладен и беспечен,
Презрительной стопою попирал.
Но камень тот певец отдохновеньем
От горних мук навеки освятил:
И странник днесь идет пред ним с почтеньем,
И юноша не раз главу склонил,
И дрожь берет надменного педанта,
Когда на нем читает: *Камень Данта*.

В красавицах полуденных краев
Одна цвела красою незаметной,
Пока на ней орла земных певцов
Не опочил случайно взор приветной; —
Он к ней на грудь с своих небес летал,
От бурного полета утомленный, —
И луч певца над нею воссиял,
И юноша, лучом тем ослепленный,
В ней полюбил не цвет, не красоту,
Но грешную Байронову мечту.

Рим. 7 апреля 1831

СОНЕТ

(Италиянским размером)

Люблю, люблю, когда в тени густой
Чета младая предо мной мелькает,
И руку верную с верной рукой
Кольцо в кольцо любовно сплетает.

Стремлюся к ним я сирою душой,
Но их душа чужое отвергает,
И взор, увлаженный горькой слезой,
Благословляя, в сень их провожает.

Стою один — и сердце жмет тоска,
И по руке хлад пробегает скорый:
Чья обовьется вкруг нее рука?

Где опочиют идущие взоры?
И долго ли мне жить без двойника:
Как винограду падать без опоры?

Апрель 1831

ЭПИГРАММА-ОКТАВА

Рифмач, стихом российским недовольный,
Затеял в нем лихой переворот:
Стал стих ломать он в дерзости крамольной,
Всем рифмам дал бесчиннейший развод,
Ямб и хорей пустил бродить по вольной,
И всех грехов какой же вышел плод:
«Дождь с воплем, ветром, громом согласился
И страшной мир гармоньей оглушился!»

До 2 августа 1831

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Не призывай небесных вдохновений
На высь чела, венчанного звездой;
Не заводи высоких песнопений,
О юноша, пред суетною толпой.
Коль грудь твою огонь небес объемлет
И гением чело твое светло, —
Ты берегись: безумный рок не дремлет
И шлет свинец на светлое чело.

О горький век! Мы, видно, заслужили,
И по грехам нам, видно, суждено,
Чтоб мы теперь так рано хоронили
Все, что для дум прекрасных рождено.
Наш хладный век прекрасного не любит,
Не нужного корыстному уму.
Бессмысленно и самохвально губит
Его сосуд — и все равно ему:

Что чудный день померкнул на рассвете
Что смят грозой роскошный мотылек,
Увяла роза в пламенном расцвете,
Застыл в горах зачавшийся поток;
Иль что орла стрелой пронзили люди,
Когда младой к светилу дня летел,
Иль что поэт, зажавши рану груди,
Бледнея пал — и песни не допел.

1841

КИБИТОЧКИ

Был очень жарок день — и жатва
зачиналась.
Семья усердных жниц с серпами
наклонялась
Над рожью, падшею от тяжести зерна,
И нива на землю ложилась, как волна.
Вблизи поляны той, где жатву зачинали,
В кустах с младенцами кибиточки стояли,
Где нежных матерей забота собрала
Всех младших жителей из мирного села,
Вопль часто прерывал ретивую работу,
И мать меняла серп на лучшую заботу,
И грудь вложив в уста младенца своего,
Унылой песенкой баюкала его.

Не плачьте горько так, невинные младенцы,
Юнейшие земли родимой поселенцы!
Над вашей младостью не дремлет ночи тень,
Вам брезжит вольный свет, вам всходит
новый день!
О вас моя печаль, за вас моя молитва:
Да будет не трудна вам новой жизни битва!

1857

К ИТАЛИИ

И для тебя настал свободы миг,
Раба своих тиранов и чужих!
И ты, цепей почувствовав обиду,
Зовешь на них народ и Немезиду!
О кто тебе, красавица, из нас
Не скажет вслух: бог помочь! В добрый час!
Пошли тебе господь свой дар—свободу,
И за твою счастливую природу,
И за твои лазурны небеса,
За песен дар, за звонки голоса,
За чудеса небесных вдохновений,
Что навевал тебе искусства гений,
За жертвы все, за пролитую кровь,
За красоту, за веру, за любовь,
За славное от бога назначенье,
Два раза дать народам просвещенье,
За то, что некогда в семье твоей
И пел твой Дант и мыслил Галилей,
За то, что ты через века страданий
Спасла ковчег народных упований.

20 апреля 1859

19 ФЕВРАЛЯ

О люди русские, благословим сей день
И воздадим хвалу мы богу всеблагому
За то, что с родины слетает рабства тень,
Не будет человек принадлежать другому.

Обрадовала ль весть томящийся народ?
Сбылось ли древнее души его гаданье?
Взломала ль наша Русь цепей мертвящий лед
И богу отдала ль его же достоянье?

Вольнее ль дышится на родине моей?
Небесною ценой искуплены ли люди?
И воздух, веющий с родных моих полей,
Отраднее ли стал для благородной груди?

Везде цветет она, свобода — божий плод!
Везде зовет на пир счастливые народы!
История, пришел и наш черед;
Пора и нам вкусить божественной свободы!

Без милой вольности и мыслей крыльев нет!
Мертва и красота, коль духом не свободна!
Затворен к истине веками тертый след
И к вышним небесам молитва недоходна.

Слетел ли ангел к нам с лазоревых высот
И совершилось ли ожиданное ныне?
Повеяло ль с небес отрадою в народ
Тепла была о том молитва на чужбине.

Конец февраля 1861, Флоренция

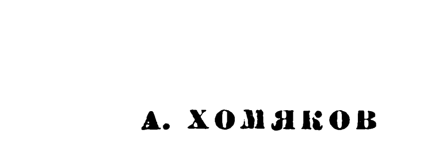
ОТКЛИК

Благая весть! Исчезла крепость! —
И цепи разом порваны:
Смолкает гул их, как нелепость
Давно отжившей старины.
Вольнее дышится — приятно!
Отрадней смотришь на людей,
И веет воздух благодатной
С далеких родины полей.

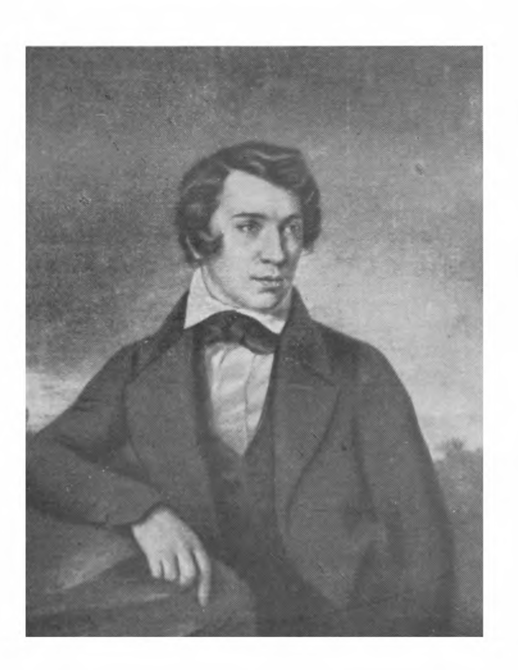
О сколько, дружных ликований
Несется к нам с ее концов!
Как весел звук таких лобзаний,
Возвышен смысл таких пиров!
Нам дан из царственных объятий
Залог основный, в добрый час,
В свободе меньших наших братий,
Свободы каждого из нас.

Дух божий носится над нами,
Как в оны дни над бездной вод;
Горя небесными огнями,
Народы к жизни он зовет.
Цари! ваш первый друг свобода,
Вам нет союзников верней
Свободы вашего народа
И просвещения людей.

Мая 1 (апреля 19) 1861. Флоренция



А. ХОМЯКОВ



Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года в довольно богатой дворянской семье. О детстве его не сохранилось почти никаких сведений. Жил он со своими родителями, зимой — обычно в Москве, летом — в родовых поместьях. Первоначальное образование — следует думать, не особенно глубокое, — получил тоже дома. Известно, что одно время, правда, довольно недолго, русскую словесность преподавал ему А. А. Жандр, известный в то время драматург, друг Грибоедова.

Первые литературные интересы возникают у Хомякова несколько позднее, когда завязывается его дружба с братьями Веневитиновыми — Алексеем и Дмитрием, из которых последний вскоре становится центральной фигурой одного из кружков московской университетской молодежи, тяготевшего к философским вопросам, в частности к немецкой идеалистической философии. Около этого же времени Хомяков и сам начинает писать. Первые дошедшие до нас стихотворения Хомякова — басня «Совет зверей», ряд переводов и подражаний из античных поэтов (Виргилия, Горация), «оссианические» пьесы, наконец,

большая поэма о Вадиме, полулегендарном новгородском мятежнике, ставшем одним из излюбленнейших литературных героев той эпохи. Все без исключения ранние хомяковские стихотворные опыты носят подражательный характер.

В печати Хомяков дебютирует в семнадцатилетнем возрасте, но не как поэт, а как прозаик: в «Трудах Общества российской словесности» появляется в 1821 году его перевод из Тацита: «О нравах и положении Германии».

Дальнейшее сближение Хомякова с веневитиновским кружком прерывается его отъездом на юг, на военную службу. Там он остается, однако, недолго, и в 1823 году переводится в Петербург, где заводит знакомство с рядом деятелей декабристского движения, в частности с Рылеевым, который печатает в своих альманахах «Полярная Звезда» два стихотворения Хомякова: «Бессмертие вождя» и «Желание покоя».

Весной 1825 года Хомяков уезжает за границу, долгое время живет в Париже, занимаясь живописью и работая над трагедией «Ермак», и, побывав в Италии, возвращается в Россию в начале следующего 1826 года.

Здесь он снова сближается с кружком любомудров, начинающим играть довольно заметную роль в литературной жизни эпохи. Поэтическая известность Хомякова растет. Он становится постоян-

ным гостем различных литературных и светски-артистических салонов Москвы и Петербурга. В «Московском Вестнике» его стихотворения печатаются из номера в номер. Когда вернувшийся из ссылки Пушкин читал на вечере у Веневитиновых «Бориса Годунова» любомудры, в качестве своего представителя, выдвигают именно Хомякова, с его «Ермаком». После смерти Веневитинова, он — вместе с Шевыревым — оказывается основной поэтической «величиной» журнала и объединяющейся вокруг него группы.

В мае 1829 года Хомяков вновь поступил на военную службу — в связи с начавшейся войной с Турцией — и уехал в действующую армию, где оставался, с коротким перерывом на отпуск, проведенный им в Москве, до конца военных действий, т. е. до января 1830 года.

В период пребывания в армии его поэтическая работа продолжается с прежней активностью. Позднее, в 1836 году, она была отмечена Пушкиным в предисловии к «Путешествию в Арзрум»: «Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве... Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений..»

Но особенно продуктивным в поэтическом отношении был у Хомякова год по возвращении с войны, проведенный им

в усадебном уединении, в поместьи отца — Липицах. В это же время начинает он работу над второй своей большой трагедией «Димитрий Самозванец».

Вскоре, однако, его поэтическая активность начинает падать. В какой-то мере это связано с общей идеологической эволюцией тех кругов, к которым он ближе всего примыкал. Старое любомудрие переживает кризис, из его недр вырастают два новых, враждебных друг другу идейных направления: западничество и славянофильство.

Хомяков становится одним из вождей последнего. Он выступает с этого времени, главным образом, как славянофильский публицист — автор статей религиозно-философского и философско-исторического характера. Все большее и большее место занимает пропаганда славянофильской доктрины и в его поэтической практике. Когда в 1844 году выходит первый, и оставшийся единственным прижизненным, сборник его стихотворений, Белинский встретил его уничтожающей рецензией.

В начале нашего века, когда загнивающая буржуазная мысль усиленно искала опорных точек в прошлом, были сделаны попытки реставрировать теоретические труды Хомякова, изобразить его в качестве автора глубокой и всеобъемлющей философской концепции. Попытки эти, однако, свидетельствуют не столько о глубине

и теоретической значительности хомяковских писаний, сколько о теоретической скудости и убожестве его реставраторов.

Монументальный труд Хомякова, известный в его кругу под названием «Семирамиды», а им самим загадочно озаглавленный «И. и. и. и.», труд, который должен был представить собою обобщенный обзор всей мировой истории, с точки зрения славянофильской догмы, и который сам он считал одной из важнейших задач своей жизни, остался у него незаконченным. В своих более мелких теоретических работах, довольно многочисленных, Хомяков выступает не столько как философ, как социолог или как историк, сколько именно как пропагандист и вдохновитель славянофильства.

Социальный диапазон этой его пропагандистской работы был, конечно, крайне узок. В печать из всего того, что он писал, попадало сравнительно немногое; только в основном органе славянофилов «Москвитянине», в первые годы его существования, он сотрудничал более или менее систематически. В конце николаевского царствования, после запрещения второго выпуска славянофильского «Московского Сборника», Хомякову, как и другим участникам сборника, фактически вообще было запрещено печататься.

Основной ареной хомяковских выступлений служили московские салоны. Бле-

стящий портрет Хомякова этого периода дал Герцен. «Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков... Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, путал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, — словом, кого за убеждение — убеждение прочь, кого за логику — логика прочь. Хомяков был, действительно, опасный противник; закалившийся старый бретер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете, от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку. Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в

сомнении, есть ли у *него* у *самого* что-нибудь заветное. Он мастерски ловил и мучал на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, *как казалось*, от души. Я говорю «как казалось», потому что в несколько восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе-на-уме. Он вообще больше сбивал, чем убеждал... Многие, и некогда я сам, думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрений, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и не служившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он, или плакал, — это зависело от нерв, от склада ума, от того, как сложила его среда, как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается. Хомяков, может быть, беспрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских. Сломанность этих людей была очевидна. В жару полемики можно было иногда забы-

вать это, — теперь это было бы слабо и жалко».

Внешними событиями жизнь Хомякова за эти годы была бедна. Только одной заграничной поездкой в 1847 году, во время которой Хомяков побывал в Чехии, Австрии и Германии, и был прерван однажды ее обычный ход.

Некоторая активизация общественного поведения славянофилов намечается в середине 50-х годов в связи с началом так называемой восточной войны — войны России против Турции, выступавшей в союзе с Францией и Англией. Война эта рисовалась им как событие всемирно-исторических масштабов. В ней видели они некоторое исполненное высшего исторического смысла столкновение западного и восточного начал, некую новую веху мировой истории.

Хомяков откликнулся на начало этой войны стихотворением «Россия», реакционным по смыслу, но резко фрондерским по тону, в котором правительственные круги усмотрели чуть ли не политическое преступление. Хомякову грозила ссылка, но, благодаря вмешательству некоторых его высокопоставленных покровителей, дело кончилось благополучно. Сыграло роль и то, что сам он, повидимому, перепугался несколько той бури негодования, которое вызвало стихотворение в реакционных общественных кругах, и вслед за ним напи-

сал другое — «Покаявшейся Руси», в значительной мере нейтрализовавшее действие первого.

В 1856 году славянофильская группа вновь получает разрешение на издание своего органа «Русская Беседа», в организации которого Хомяков принимает ближайшее участие и становится одним из основных руководящих сотрудников его. В следующем 1857 году он избирается председателем «Общества любителей российской словесности», играющего роль цитадели дворянской литературы в ее борьбе против подымающейся литературы революционного разночинства.

Хомяков умер, заразившись холерой, 23 сентября 1860 года.

В поэтическом пути Хомякова, с большей или меньшей отчетливостью, могут быть установлены два периода, два этапа: первый — когда его поэтическая работа оказывается ближайшим образом связанной с эстетической и философской теорией любомудрия, и второй — славянофильский.

На первом этапе его творчество остается в русле прогрессивных тенденций общественной жизни эпохи. Какой-либо гражданский пафос и в это время чужд ему; какого-либо стремления к обличению феодально-крепостнической действительности, к раскрытию ее социальных несовершенств и в это время искать у него было бы на-

прасным трудом. Но всем своим философским содержанием, своим пантеистическим характером, лишенным какой бы то ни было клерикально-церковнической окраски, оно противостоит этой действительности. Противостоит, — ибо единственной философией, допускавшейся в николаевской России, был православный катехизис.

Более сложный характер носит хомяковское творчество позднейшего времени, когда общие идеологические позиции Хомякова определяются как позиции славянофильские.

Поскольку поэтическая практика Хомякова в этот период в значительной мере сводилась, как мы уже говорили, к пропаганде славянофильства, постольку она служила охранительным началам современной исторической действительности. Особенно относится это к панславистским стихотворениям Хомякова — тем, в которых он призывает «славянских братьев» объединиться под эгидой русского самодержавия. Эти его стихотворения — памятники литературного мракобесия и обскурантизма. Чудовищна та историческая слепота, то искажение реальной исторической перспективы, к которым приводят Хомякова его панславистские симпатии. Достаточно привести в качестве примера его поэтическую оценку революционной ситуации 1848 года, когда южные славяне, оказавшиеся самым надежным и послушным орудием в руках

реакции, рисуются им как борцы за свою национальную свободу.

Но есть у Хомякова славянофильского периода и другие стихотворения — те, в которых отразилась преимущественно оппозиционность славянофильства к николаевской монархии. Выше фронды Хомяков не поднимается, правда, и здесь; его критика и здесь остается не революционной, именно фрондерской. Но при всем том, заострена была эта критика против тех сторон николаевского режима, которые представляли собою объективное зло: против полицейского гнета, против апофеоза кнута и палки, как основных элементов государственной машины.

И эти стихотворения, хотел или не хотел того Хомяков, объективно агитировали против феодально-крепостнической монархии, объективно расшатывали ее здание, поддержке которого, в конечном счете, служило все учение славянофилов.

В истории русской стиховой культуры Хомяков ближе всего стоит, пожалуй, к Тютчеву, хотя он во многом и эклектичнее Тютчева, и гораздо более поддается влиянию ходячих поэтических формул и штампов, чем Тютчев. Основной пафос его поэтики — пафос преодоления стихового канона так называемой легкой поэзии, поэзии, социальной почвой которой являлись светский салон и гостиная. Ее камерности, интимности у Хомякова противопо-

ставлена высокая, насыщенная философским содержанием, тематика; ее языковой ориентации — тяготение к «возвышенному», несколько архаизованному словарю, к декламационной патетике.

Классическим в этом отношении является стихотворение «К заре» (см. стр. 211).

Здесь буквально как в фокусе пересекаются все основные черты поэтики раннего Хомякова и, в значительной мере, — всей вообще поэтики любомудрия. Не случайно именно этим стихотворением открывался стихотворный раздел в первом номере «Московского Вестника», — очевидно ему приписывалось некоторое программное значение.

Впрочем, повторяем, далеко, конечно, не все, что писал Хомяков в период своего любомудрия, носит такой программный характер. Встречаются у Хомякова — и раннего, и позднейшего периода — и чисто описательные вещи, и лирические обращения к любимой, и вещи законченно мадригального характера, и даже просто стихотворные шутки.

Вместе с тем поэзия Хомякова — один из значительных этапов в преодолении канонов так называемого классического стиха. Хомяков широко вводит в поэтический обиход трехсложные размеры, пытается культивировать чисто тонические формы и т. д.

Менее интересна и менее значительна по своей роли в истории литературы стихотворная публицистика Хомякова-славянофила. Очень многие его опыты славянофильского периода представляют собою не более, чем переложенные на стихи отрывки его публицистической прозы («Остров»). Очень большое место занимает в его поэтической практике этих лет аллегория; недаром Владимир Соловьев острил, что у Хомякова и Навуходоносор посрамлен за свое неуважение к свободе печати, — основная манера обличительных стихотворений Хомякова в этой остроте схвачена очень тонко.

Библейские мотивы и образы для него, как правило, — не более, чем прикрытие некоторой обличительной тенденции. За каждым его построенным на библейском материале стихотворением всегда отчетливо намечается второй план — план злободневного фельетона. В этой политической заостренности заключается относительный исторический интерес поздней поэзии Хомякова.

И. Сергиевский

К ЗАРЕ

В воздушных высотах, меж нощию
и днем
Тебя поставил бог, как вечную
границу, —
Тебя облек он пурпурным огнем, —
Тебе он дал в сопутницы денницу.
Когда ты в небе голубом
Сияешь, тихо догорая, —
Я мыслю, на тебя взирая:
Заря! тебе подобны мы, —
Смешенье пламени и хлада,
Смешение небес и ада,
Слияние лучей и тьмы.

До 1825

В АЛЬБОМ

Не грустью, нет, но нежной думой
Твои наполнены глаза,
И не печали след угрюмой, —
На них жемчужная слеза.
Когда с душою умиленной
Ты к небу взор возводишь свой,
Не за себя мольбы смиренной
Ты тихо шепчешь звук святой.
Паришь ты мыслью над звездами,
Огнем пылаешь неземным
И на печали, на желанья
Глядишь как юный серафим,
Бессмертный, полный сострадания,
Но чуждый бедствиям земным.

[1827]

МОЛОДОСТЬ

Небо! дай мне длани
Мощного титана!
Я схвачу природу
В пламенных объятьях;
Я прижму природу
К трепетному сердцу,
И она желанью
Сердца отзовется
Юною любовью,
В ней все дышит страстью,
Все кипит и блещет,
И ничто не дремлет
Хладною дремотой.

На земле пылают
Грозные волканы;
С шумом льются реки
К безднам океана,
И в лазурном море
Волны резво плещут
Бурною игрою.
И земля и море
Светлыми мечтами,
Радостью, надеждой,
Славой и красою

Смертного дарят.
Звезды в синей тверди
Мчатся за звездами,
И в потоках света
Льется по эфиру
Тайной страсти голос,
Тайное признанье.
И века проходят,
И века родятся, —
Вечное боренье,
Пламенная жизнь.

Небо, дай мне длани
Мощного титана:
Я хочу природу,
Как любовник страстный,
Радостно обнять.

(1827

СТАРОСТЬ

Скорей, скорей сомкнитесь очи:
Зачем вы смотрите на свет?
Часы проходят, дни и ночи,
И годы за годами вслед,
А в мире все, что было прежде, —
Желанье жадно, жизнь бедна,
И верят смертные надежде,
И смертным вечно лжет она.
Я видел вещие скрижали,
Заветы древности седой,
И что ж? Исполнен был печали
Времен минувших глас святой.
С тех пор, как мир из колыбели
Воспрянул в юной красоте
И звезды стройно полетели
К небесной, синей высоте,
Как в бурном море за волною,
Шумя к брегам, бежит волна, —
Так неисчетны над землею
Промчались смертных племена;
Восстали, ринулись державы,
Народы сгибли без следов,
И горькая насмешка славы
Одна осталась от веков.
Страстей неистовых волненье,

И горе, властелин земли,
И счастья светлое виденье,
Всегда манящее вдали,
Для взоров старца все открылось.
Постыла жизнь его глазам,
Душа в обманах утомилась,
Она изверилась мечтам
И ждет в томленьи упованья:
Придет ли час, когда желанья
В ее замолкнут глубине,
И океан существованья
Заснет в безбрежной тишине?

[1827]

ЖЕЛАНИЕ

Хотел бы я разлиться в мире;
Хотел бы с солнцем в небе течь,
Звездою в сумрачном эфире
Ночной светильник свой зажечь.
Хотел бы зыбию стеклянной
Играть в бездонной глубине
Или лучом зари румяной
Скользить по плещущей волне.
Хотел бы с тучами скитаться,
Туманом виться вкруг холмов
Иль буйным ветром разыграться
В седых изгибах облаков;
Жить ласточкой под небесами,
К цветам ласкаться мотыльком
Или над дикими скалами
Носиться дерзостным орлом.
Как сладко было бы в природе
То жизнь и радость разливать,
То в громах, вихрях, непогоде
Пространство неба обтекать.

[1827]

ПОЭТ

Все звезды в новый путь стремились,
Рассеяв вековую мглу,
Все звезды жизнью веселились
И пели божию хвалу.
Одна, печально измеряя
Никем незнанные лета,
Земля катилася немая,
Небес веселых сирота.
Она без песен путь свершала,
Без песен в путь текла опять,
И на устах ее лежала
Молчанья строгого печать.
Кто даст ей голос? — Луч небесный
На перси смертного упал,
И смертного покров телесный
Жильца бессмертного приял.
Он к небу взор возвел спокойный,
И богу гимн в душе возник;
И дал земле он голос стройный,
Творенью мертвому язык.

[1827]

ЭЛЕГИЯ НА В. К.

Я знаю, в гроб его сокрыли
И землю сыпали над ним; —
Но встанет он из хладной пыли,
Он явится глазам моим.
Когда-нибудь в часы полночи,
Когда все стихнет на земле
И как недремлющие очи
Зажгутся звезды в синей мгле,
Он молча предо мною станет, —
Неслышно, будто легкий сон —
И томно на меня он взглянет,
И томно улыбнется он.
Но не прострет он длани
хладной...
Стеснится горем грудь моя,
И то заплачу я отрадно,
То горько улыбнуся я.
Что ж медлишь, друг? Я жду
тебя...
Не думай, чтобы я страшился
Увидеть свет твоих очей.
Пусть скажут, что ты в гроб
сокрылся —
Ты все живешь в груди моей.

Другой меня с улыбкой встретит,
И шумен мне ее привет;
Но взор твой все мне дружбой светит,
Он светит счастьем прежних лет.

1827

К В. К.

Ты молод был, когда прощанья
Ударил неизбежный час,
И звуки грозного призванья
Тебя похитили у нас.
В тебе кипели жизни волны,
В тебе пылал огонь страстей,
И ты сошел, надежды полный,
В жилище дедовских костей.
Счастлив! Там персть твоя сокрыта
От стрел мучительных забот,
И от судеб тебе защита
Могилы каменный оплот.
Но горе мне! Я здесь скитаюсь;
Я раб судьбины, раб страстей,
В бессильи гордом пресмыкаюсь
Под грузом тягостным скорбей.
И старость грустная настанет,
Она потушит жар ланит,
Морщины по челу протянет,
Мой черный волос убелит.
Она холодною рукою
Исторгнет из груди моей
Мечты, любимые тобою,
Порывы юношеских дней,
Восторги, радости, желанья,

Отымет все... Нет, страх пустой.
Я воскрешу твои мечтанья,
Надежды, сердца дар святой,
Волшебной силы вспоминанья;
Я буду жизнью жить двойной,
И юностью твоею молод,
Проливши краткую весну,
Я старости угрюмый холод
От сердца бодро оттяну,
Не презрю я мечты мгновенной,
Восторгов чистого огня,
И сон, тобою разделенный,
Священным будет для меня.

ОТЗЫВ ОДНОЙ ДАМЕ

Когда Сивиллы слух смятенной
Глаголы Фебовы внимал,
И перед девой исступленной
Призрак грядущего мелькал,—
Чело сияло вдохновеньем,
Глаза сверкали, глас гремел.
И в прахе с трепетным волненьем
Пред ней народ благоговел.
Но утихал восторг мгновенный,
Смолкала жрица — и бледна
Перед толпою изумленной
На землю падала она.
Кто, видя впалые ланиты
И взор без блеска и лучей,
Узнал бы тайну силы скрытой
В пророчице грядущих дней?
И ты не призывай поэта!
В волшебный круг свой не мани!
Когда вдали от шума света
Душа восторгами согрета,
Тогда живет он. — В эти дни
Вмещает все существованье;
Но вскоре слаб и утомлен,
И вихрем света увлечен,

Забыв высокие созданья,
То ловит темные мечтанья,
То как дитя сквозь смутный сон
Смеется и лепечет он.

[1828]

СТЕПИ

Ах! Я хотел бы быть в степях
Один с ружьем неотразимым,
С гнедым конем неутомимым
И с серым псом на стременах.
Куда ни взглянешь — нет селенья,
Молчат безбрежные поля,
И так, как в первый день творенья,
Цветет свободная земля.
Там не пресек ее межами
Людей бессмысленный закон,
Людей безумными трудами
Там божий мир не искажен;
Но смертных ждет святая доля,
Труды, здоровие, покой,
Беспечный мир, восторг живой,
Степей кочующая воля.
Ах! для чего ж я не в степях
Один с ружьем неотразимым,
С гнедым конем неутомимым
И с серым псом при стременах?

1828

ВДОХНОВЕНИЕ

Тот, кто не плакал, не дерзни
Своей рукой неосвященной
Струны коснуться вдохновенной:
Поэта званья не скверни.
Лишь сердце, в коем стрелы рока
Прорыли тяжкие следы,
Святит как вещий дух пророка,
Свои невольные труды.
И рана в нем не исцелеет,
И вечно будет литься кровь;
Но песни дух над нею веет
И дум возвышенных любовь.
Так средь Аравии песчаной
Над степью дерево растет:
Когда его глубокой раной
Рука пришельца пресечет, —
Тогда, как слезы в день страданья,
По дико-врезанным браздам
Течет роса благоуханья,
Небес любимый фимиам.

281

НА НОВЫЙ ГОД

Пробил полночи час туманный,
Сын времени свершил свой ход,
И вот в приют мой, гость незванный,
Спустился тихо новый год.
Слетая в мир, он ждал привета,
И света плеском встречен был,
Но что же? стройный глас поэта
Его доселе не освятил.
И он с улыбкою лукавой
«Чего ты просишь? — мне сказал.—
Я подружу тебя со славой,
Дам кучу злата, — я молчал. —
Я утолю твои печали, —
Шепнул он с ласковым лицом, —
И сердца грустные скрижали
Забвенья смою я ручьем.
Ты вспомнишь прежние утраты,
Как помнят сон с восходом дня,
И вновь, надеждами богатый,
Полюбишь жизнь». — «Оставь меня,
Ты слышишь: там рукоплесканья,
Веселье, шумные пиры;
Поди там сыпать обещанья,
Там расточай свои дары.
Давно ль, когда твой брат коварный

Мне те же речи говорил,
Я жертвой песни благодарной
Его приход благословил?
И что ж? — Питомец вдохновенья,
Мой друг, мой брат был взят землей,
И чистый гений песнопенья
Любимый храм покинул свой.
Но многих горесть утолится,
Ты многим счастье можешь дать;
Но что в груди певца таится,
Того не в силах ты отнять.
Не как другие дни проводит
Душа, любимица мечты:
В ней как в воде резец проходит.
Как в камне вечны в ней черты».

1828

СОН

Я видел сон, что будто я певец,
И что певец пречудное явленье,
И что в певце на все свое творенье
Всевышний положил венец.

Я видел сон, что будто я певец,
И под перстом моим дышали струны,
И звуки их гремели как перуны,
Стрелой вонзалися во глубину сердец.

И как в степи глухой живые воды,
Так песнь моя ласкала жадный слух;
В ней слышен был и тайный глас
природы
И смертного горе парящий дух.

Но час настал. Меня во гроб сокрыли,
Мои уста могильный хлад сковал;
Но из могильной тьмы, из хладной пыли,
Гремела песнь и сладкий глас звучал.

Века прошли, и племена другие
Покрыли край, где прах певца лежал;
Но не замолкли струны золотые
И сладкий глас попрежнему звучал.

Я видел сон, что будто я певец,
И что певец пречудное явленье,
И что в певце на все свое творенье
Всевышний положил венец.

1826

СОНЕТ

В тени садов и стен Ески-Сарая,
При блеске ламп и шуме вод живых,
Сидел султан, роскошно отдыхая
Среди толпы красавиц молодых.

Он в думах был — главою помавая
Шумел чинар, и ветер, свеж и тих,
Меж алых роз вздыхал, благоухая.
И рог луны был в сонме звезд ночных.

«Чтоб кисть писца на камнях начертала,
Что все пройдет», воскликнул падишах.
Я зрел Сарай и надпись на стенах,

И вся душа невольно тосковала,
И снова грусть былое воскрешала,
И мысль моя носилась в прежних днях.

1829

ПРОЩАНИЕ С АДРИАНОПОЛЕМ

Эдырне! прощай! уже более мне
 Не зреть Забалканского края,
Ни синих небес в их ночной тишине,
 Ни роскоши древней Сарая,
Ни тени густой полуденных садов,
Ни вас, кипарисы, любимцы гробов.

Эдырне! на стройных мечетях твоих
 Орел возвышался двуглавый;
Он вновь улетает: но вечно на них
 Останутся отблески славы.
И турок, в мечтах, будет зреть пред собой
Тень крыльев Орла над померкшей Луной.

1829

КЛИНОК

Не презирай клинка стального
В обделке древности простой
И пыль забвенья векового
Сотри заботливой рукой.
Мечи с красивою оправой,
В златых покояся ножнах,
Блистали тщетною забавой
На пышных роскоши пирах;
А он в порывах бурь военных
По латам весело стучал
И на главах иноплеменных
Об Руси память зарубал.
Но тяжкий меч, в ножнах забытый
Рукой слабеющих племен,
Лежит, давно полусокрытый
Под едкой ржавчиной времен
И ждет, чтоб грянул голос брани,
Булата звонкого призыв,
Чтоб вновь воскрес в могущей длани
Его губительный порыв;
И там, где меч с златой оправой
Как хрупкий сломится хрусталь,
Глубоко врежет след кровавый
Его синеющая сталь.

Так не бросай клинка простого
В обделке древности стальной
И пыль забвенья векового
Сотри заботливой рукой.

[1829]

НА КУСОК ЯНТАРЯ

Из Саади

Червь ядовитый скрывался в земле;
Черные думы таились во мгле.

Червь, изгибаяся, землю сквернил;
Грех ненавистный мне душу тягчил.

Червь ядовитый облит янтарем,
Весело взоры почиют на нем.

К небу подъемлю я очи с мольбой,
Грех обливаю горючей слезой.

В сердце взгляну я: там божья печать,
Грех мой покрыла творца благодать.

[1830]

ПРИЗНАНИЕ

«Доселъ безвестна мне любовь
И пылкой страсти огнь мятежной;
От милых взоров, ласки нежной,
Моя не волновалась кровь».
Так сердца тайну в прежни годы
Я стройно в звуки облекал
И песню гордую свободы
Цевнице юной поверял;
Надеждами, мечтами славы
И дружбой верною богат,
Я презирал любви отравы
И не просил ее наград.
С тех пор душа познала муки,
Надежд утрату, смерть друзей,
И грустно вторит песни звуки,
Сложенной в юности моей.
Я под ресницею стыдливой
Встречал очей огонь живой,
И длинных кудрей шелк игривой,
И трепет груди молодой,
Уста с приветною улыбкой,
Румянец бархатных ланит,
И стройный стан, как пальма гибкой,
И поступь легкую Харит.
Бывало, в жилах кровь взыграет,

И страха, радости полна,
С усильем тяжким грудь вздымает,
И сердце шепчет: вот она.
Но светлый миг очарованья
Прошел как сон, пропал и след.
Ей дики все мои мечтанья
И не понятен ей поэт.
Когда ж?.. И сердцу станет больно,
И к арфе я прибегну вновь,
И прошепчу, вздохнув невольно:
Досель безвестна мне любовь.
[1830]

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

«Много в Олимпе богов, сильней
златовласого Феба;
Что ж ты, других позабыв, жертву
приносишь ему?»
— Много сильных богов восседает в горнем
Олимпе,
Все же подвластны они воле Фортуны
слепой;
Феб златовласый один от дерзкой Фортуны
свободен,
Жертвы ему одному гордый приносит
певец.

[1830]

ЗИМА

Поля покрылися пушистыми снегами,
И солнце, скрытое туманными зыбями,
Как будто крадется невидимой стезей
От утра позднего до ранней тьмы ночной.
Прощайте, осени разгульные забавы!
Прощай, призывный рог в безмолвии
дубравы,
И легкий скок коня по долам и горам,
И звучная гоньба по утренним зарям!
Когда пройдет зима? Когда увидим снова
Веселый цвет лугов и поля озимнова,
Леса, согретые дыханием весны,
И синеву небес над зеркалом волны?

Вотще, исполненный невольного томленья,
Чтоб разогнать тоску и скуку заточенья,
Гляжу в замерзшее и тусклое окно;
Вокруг все холодно и мертво, и темно!
Вдали шумит метель, и на земле печальной
Раскинут белый снег как саван
погребальный.
Вокруг все холодно. Но что ж? В груди моей
Теплее кровь бежит, и взор души светлей.
Мечта проснулася, и чудные виденья
Рисует предо мной игра воображенья.

Мне помнятся края, где, путник молодой,
Я с мирным посохом и пылкою душой
Бродил среди картин и прелестей природы...
Скалы Швейцарии, убежища свободы,
И роскошь Франции, и ты, страна чудес
И пламенных искусств и радужных небес,
Страна Италии, где луг, и лес, и волны,
И диких гор верхи восторгов сладких полны!
Мне битвы помнятся, гусаров шумный стан,
Блестящей сабли взмах, погибель мусульман,
Марицы светлый ток, Эдырне горделивый,
И стройный минарет в пустыне молчаливой.
Но чаще помню я, забывши внешний мир,
На лоне юности мой беззаботный пир,
Давно увядшие цветы существованья,
И брата, и певца, любимца чистых Муз,
И смертью раннею разорванный союз...
И с памятью утрат и прежних наслаждений
Бегут потоки слез, стихов и вдохновений.

1830

ДВА ЧАСА

Есть час блаженства для поэта,
Когда мгновенною мечтой
Душа внезапно в нем согрета
Как будто огненной струей;
Сверкают слезы вдохновенья,
Чудесной силы грудь полна,
И льются стройно песнопенья,
Как сладкозвучная волна.

Но есть поэту час страданья,
Когда восстанет в тьме ночной
Вся роскошь дивная созданья
Перед задумчивой душой;
Когда в груди его сберется
Мир целый, образов и снов,
И новый мир сей к жизни рвется,
Стремится к звукам, просит слов.

Но звуков нет в устах поэта,
Молчит окованный язык,
И луч божественного света
В его виденья не проник.
Вотще он стонет исступленный:
Ему не внемлет Феб скупой,
И гибнет мир новорожденный
В груди бессильной и немой.

1830

ДВЕ ПЕСНИ

Прелестна песнь полуденной страны.
Она огнем живительным согрета,
Как яркий день безоблачного лета.
Она сладка, как томный свет луны,
Трепещущий на зеркале лагуны.
Все в ней к любви и неге нас манит.
Но не звучат отзывно сердца струны,
И мысль моя в груди безмолвной спит.

Другая песнь, то песнь родного края—
Протяжная, унылая, простая,
Тоски и слез и горестей полна.
Как много дум взбудила вдруг она
Про нашу степь, про гулкие метели,
Про радости и скорби юных дней,
Про тихие напевы колыбели,
Про отчий дом и кровных и друзей.

1830

ГОРЕ

Не там, где вечными слезами
Туманится печальный взор,
Где часто вторится устами
Судьбе неправедный укор;
Где слышны жалобные звуки,
Бессилья праздного плоды,
Не там, не там душевной муки
Найдешь ты тяжкие следы.
Иди туда, где взор бесслезный
Исполнен молчаливых дум;
Где гордо власть судьбины грозной
Встречает непреклонный ум;
Где по челу, как будто сталью,
Заботы врезана черта,
Но над смертельною печатью
Хохочут дерзкие уста.
Тут вечно горе, где глубоко
Страданье в сердце залегло
И под десницей тяжкой рока
Все сердце кровью изошло.

1830

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

Давно уж за полночь. Я лягу отдохнуть.
Пора мне мирным сном сомкнуть
Глаза, усталые от бденья,
И от житейского волненья
На время успокоить грудь.
Ложуся спать... Какою негой чудной
Все дышит здесь... Как сладко думать мне,
Что кончен день заботливый и трудный,
Что я могу в беспечной тишине
Лелеять до утра веселые виденья
И вольною мечтой свой новый мир творить
И средь роскошного творенья
Другою дивной жизнью жить.
Пусть завтра вновь привычные волненья...
Пусть завтра вновь... Да кто ж порукой в том, —
Что встанет для меня десница золотая?
Кто скажет мне, что, засыпая,
Не засыпаю вечным сном?
Быть может, что восток туманный
Зажжется в утренней заре,
А на немом моем одре
Найдут лишь труп мой бездыханный.
Подумать страшно. Сон лукав.
Что, если жизненные силы,

Коварной цепию связав,
Он передаст их в плен могилы?
Что, если чувство бытия,
И страсти бурное волненье,
И мыслей гордое паренье
В единый миг утрачу я?
Я в море был, в кровавой битве,
На крае пропастей и скал:
И никогда в своей молитве
Об жизни к богу не взывал.
Но в тихий час успокоенья
Удар нежданный получить,
На ложе темного забвенья
Украденным из мира быть —
Противно мне... Творец вселенной!
Услышь мольбы полночный глас.
Когда, тобой определенный,
Настанет мой последний час,
Пошли мне в сердце предвещанья.
Тогда покорною главой,
Без малодушного роптанья,
Склонюсь пред волею святой.
В мою смиренную обитель
Да придет ангел-разрушитель
Как гость, издавна жданный мной.
Мой взор измерит великан,
Боязнью дух не задрожит,
И дух из дольнего тумана
Полетом смелым воспарит.

1831

РАЗГОВОР

Вопрос

К чему поешь ты? Человек
Страдает язвою холодной,
И эгоизм, как червь голодный,
Снедает наш печальный век.
Угасло пламя вдохновенья,
Увял поэзии венец —
Пред хладным утром размышленья,
Пред строгой сухостью сердец.

Ответ

Нет, нет! Два знака примиренья
Издревле миру дал творец —
Прощения символ заветный:
Один на тверди голубой
Блестит дугою семицветной
Над успокоенной землей;
Другой гремит по всей вселенной,
Для всех племен, для всех веков:
То звуки лиры вдохновенной
И глас восторженный певцов.

Вопрос

Мечта, мечта! для звучных песен,
Где чувства, страсти, где предмет?

Круг истин скучен нам и тесен,
А для обманов веры нет.
Науки верные расчеты,
Глупцами движимый народ;
Властолюбивый темный ход,
Купцов смышленные заботы;
На них любуйся, их воспой,
И побежит твой стих обильной
Струею мелкой и бессильной,
Как люди в век наш роковой.

Ответ

К чему хулой ожесточенной
Поэта душу возмущать?
Взойдет, я верю, для вселенной
Другого века благодать.
И песнь гремит, блестит, играет,
Предчувствий радостных полна;
И звонкий стих в себе вмещает
Времен грядущих семена.
1831

ИЗОЛА БЕЛЛА

Красавец остров! Предо мною
Восходишь гордо ты в водах,
Поставлен смертного рукою
На диких мраморных скалах,
Роскошным садом осененный,
Облитый влагой голубой:
И мнится, изумруд зеленый
Обхвачен чистой бирюзой.
Меня манит твой брег счастливый;
Он сладких дум, он неги полн.
Спеши, спеши, пловец ленивый.
Лети в зыбях, мой верный чолн.
Там, меж ветвей полусокрыты,
Лимоны золотом горят;
Как дев полуденных ланиты,
Блистает пурпурный гранат;
Там свежих роз благоуханье;
Там гордый лавр пленяет взор,
И листьев мирта трепетанье,
Как двух влюбленных разговор.
Прелестный край! все дышит югом:
И тень садов, и лоно вод;
И Альпов цепь могущим кругом
Его от страха стережет,
И ярко в небе блещут льдины,

И выше сизых облаков
Восходят горы-исполины
Под шлемом девственных снегов.
Не так ли в повестях Востока
Ирана юная краса
Сокрыта за морем, далеко,
Где чисто светят небеса,
Где сон ее лелеют Пэри
И духи вод ей песнь поют;
Но мрачный Див стоит у двери,
Храня волшебный сей приют.
1831

ДУМЫ

Там были шум и разговоры,
И блеск ума, и смех живой;
И юных дев сияли взоры
Светлей, чем звезды в тьме ночной;
И сладки речи слух ласкали,
И был приветен блеск очей,
Но думы бурные роптали
Во глубине души моей.
«Проснись, проснись! Мы призываем
Тебя от снов, от грез пустых!
Проснись! Мы гаснем, увядаем,
Любимцы лучших дней твоих.
Проснися! Радость изменяет;
И жизнь кратка, и хладен свет,
И не надолго утешает
Его обманчивый привет.
А мы бессмертными венцами
Могли б главу твою венчать,
Могли бы яркими цветами
Меж лавров Руси расцветать,
Мы крыльями тебя обнимем
И в край поэзии святой
Твой дух восторженный поднимем
Мечтами, песнью и мольбой.
Проснись! Тебя мы призываем

От смутных снов, от грез пустых,
Проснись! Мы гаснем, увядаем,
Любимцы лучших дней твоих».

Молчите, пламенные думы!
Засните вновь на краткий срок!
Твердит напрасный мне упрек
Ваш голос строгий и угрюмый.
Меня не свяжет свет холодный;
Настанет вдохновенный час:
И к жизни звучной и сободной,
Могучий, вызову я вас.

1831

ВДОХНОВЕНИЕ

Лови минуту вдохновенья,
Восторгов чашу жадно пей
И сном ленивого забвенья
Не убивай души своей.
Лови минуту. Пролетает
Как молньи яркая струя;
Но годы многие вмещает
Она земного бытия.
Но если раз душой холодной
Откинешь ты небесный дар
И в суете земли бесплодной
Потушишь вдохновенья жар;
И если раз, в беспечной лени,
Ничтожность мира полюбив,
Ты свяжешь цепью наслаждений
Души бунтующей порыв, —
К тебе поэзии священной
Не снидет чистая роса,
И пред зеницей ослепленной
Не распахнутся небеса.
Но сердце бедное иссохнет —
И нива прежних дум твоих,
Как степь безводная, заглохнет
Под терном помыслов земных.

1831

ИНОСТРАНКА

Вокруг нее очарованье;
Вся роскошь юга дышит в ней,
От роз ей прелесть и названье;
От звезд полудня блеск очей.
Прикован к ней волшебной силой,
Поэт восторженно глядит;
Но никогда он деве милой
Своей любви не посвятит.
Пусть ей понятны сердца звуки,
Высокой думы красота,
Поэтов радости и муки,
Поэтов чистая мечта;
Пусть в ней душа как пламень ясный,
Как дым молитвенных кадил;
Пусть ангел светлый и прекрасный
Ее с рожденья осенил:
Но ей чужда моя Россия,
Отчизны дикая краса:
И ей милей страны другие,
Другие лучше небеса.
Пою ей песнь родного края;
Она не внемлет, не глядит.
При ней скажу я «Русь святая»,
И сердце в ней не задрожит.

И тщетно луч земного света
Из черных падает очей;
Ей гордая душа поэта
Не посвятит любви своей.

1831

ЕЙ ЖЕ

О дева роза, для чего
    Мне грудь волнуешь ты
Порывной бурею страстей
    Желанья и мечты.

Спусти на свой блестящий взор
    Ресницы длинной тень.
Твои глаза огнем горят,
    Томят как летний день.

Нет: взор открой. Отрадней мне
    От зноя изнывать,
Чем знать, что в небе солнце есть
    И солнца не видать.

1831

К А. О. Р.

Она лукаво улыбалась,
В очах живой огонь пылал,
Головка милая склонялась;
И я глядел, и я мечтал.
И чудная владела греза
Моей встревоженной душой;
И думал я: о, дева роза!
Печален, жалок жребий твой.
За душною стеной теплицы
Тебе чужда краса лугов,
Роса ночей, лучи денницы
И ласки вольных ветерков,
В твоей пустыне, полной шума,
Людских волнений и забот,
Скажи, кому знакома дума
И мыслей творческих полет?
Кто вольный, грозный и высокий,
Твоей плененный красотой,
С душою девы одинокой
Сольется пламенной душой?
Святыне чувства ты не веришь,
Ты, как безбожник, перед ней
Улыбкой, взором лицемеришь
И томной нежностью речей.
Ты будишь пылкие желанья,

Души безумные мечты;
Но холодна, без состраданья,
Словам любви внимаешь ты.
Играй же с слабыми сердцами.
Но знай: питомец ясных дум
Тебя минет, сверкнув очами,
Безмолвен, мрачен и угрюм.

1831

To be in Petersburg with a soul and a heart in solitude indeed!

Voyage inédit

Et je vis une ville où tout était pierre! les maisons, les arbres et les habitants.

Voyage d'Abdul Fared le Vagabond

Здесь, где гранитная пустыня
Гордится мертвой красотой, —
Для сердца чистого святыни
Есть мирный кров, любимый мной.
Там дружества привет радушный
И ум в согласии с душой,
И чувству разговор послушный,
Отрадной дышит теплотой.
Так в недрах степи раскаленной
Среди губительных песков
Отраден оазис зеленый,
И пальмы тень и ключ студеный,
И песнь счастливых пастухов.

1832

К ***

Не горюй по летним розам;
Верь мне, чуден божий свет.
Зимним вьюгам да морозам
Рады заяц да поэт.
Для меня в беспечной лени,
Как часы ночного сна,
Протекли без вдохновений
Осень, лето и весна.
Но лишь гулкие метели
В снежном поле заревут,
И в пушистые постели
Зайцы робкие уйдут,
Песен дева молодая
В буре мне привет пришлет
И, привету отвечая,
Что-то в сердце запоет.

[1833]

ЖАВОРОНОК, ОРЕЛ И ПОЭТ

Когда проснувшися светлеет
Восток росистою зарей,
Незримый жаворонок реет
В равнине неба голубой;
И, вдохновенный, без науки
Творит он песнь; и с высока
Серебряные сыплет звуки
На след воздушный ветерка.
Орел, добычу забывая,
Летит, — и выше сизых туч.
Как парус крылья расстилая,
Всплывает — весел и могуч.
Зачем поют? Зачем летают?
Зачем горячие мечты
Поэта в небо увлекают
Из мрака дольней суеты? —
Затем, что в небе вдохновенье,
И в песнях есть избыток сил,
И гордой воли упоенье
В надоблачном размахе крыл.
Затем, что с выси небосклона
Отрадно видеть край земной
И робких чад земного лона
Далеко, низко под собой.

[1833]

К ***

Когда гляжу, как чисто и зеркально
Твое чело,
Как ясен взор, мне грустно и печально,
Мне тяжело.

Ты знаешь ли, как глубоко и свято
Тебя люблю?
Ты знаешь ли, что отдал без возврата
Я жизнь свою.

Когда умрет пред хладной молньей взора
Любви мечта,
Не прогремят правдивого укора
Мои уста.

Но пропою в последнее прощанье
Я песнь одну;
В ней все любовь, все горе, все страданье,
Всю жизнь сомкну.

И слыша песнь, каким огнем согрета,
И как грустна,
Узнает мир, что в ней душа поэта
Схоронена.

1834

К ***

Благодарю тебя! Когда любовью нежной
Сияли для меня лучи твоих очей,
Под игом сладостным заснул в груди
мятежной
Порыв души моей.

Благодарю тебя! Когда твой взор суровый
На юного певца с холодностью упал,
Мой гордый дух вскипел; и прежние оковы
Я смело разорвал.

И шире мой полет, живее в крыльях сила;
Все в груди тишина, все сердце расцвело;
И песен благодать свежее осенила
Свободное чело!

Так после ярых бурь моря лазурней, тише,
Благоуханней лес, свежей долин краса, —
Так раненый слегка орел уходит выше
В родные небеса!

1834

ЭЛЕГИЯ

Когда вечерняя спускается роса,
И дремлет дольний мир, и ветр прохладный
дует,
И синим сумраком одеты небеса,
И землю сонную луч месяца целует,
Мне страшно вспоминать житейскую борьбу
И грустно быть одним, и сердце сердца
просит,
И голос трепетный то ропщет на судьбу,
То имена любви невольно произносит...
Когда ж в час утренний проснувшийся
восток
Выводит с торжеством денницу золотую
Иль солнце льет лучи, как пламенный поток,
На ясный мир небес, на суету земную,
Я снова бодр и свеж: на смутный быт людей
Бросаю смелый взгляд; улыбку и презренье
Одни я шлю в ответ грозам судьбы моей,
И радует меня мое уединенье,
Готовая к борьбе и крепкая как сталь,
Душа бежит любви, бессильного желанья,
И одинокая, любя свои страданья,
Питает гордую безгласную печаль.

1834

МЕЧТА

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма
густая
На дальнем Западе, стране святых чудес;
Светила прежние бледнеют догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
А как прекрасен был тот Запад величавый.
Как долго целый мир, колена преклонив,
И чудно озарен его высокой славой
Пред ним безмолвствовал смирен и молчалив.
Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте;
И тихо как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте;
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И веры чистый огнь потоки света лил...
О! Никогда земля от первых дней творенья
Не зрела над собой столь пламенных светил.
Но горе! век прошел и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. — Там будет мрак
глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи
новом,
Проснися, дремлющий Восток!

1834

Лампада поздняя горела
Пред сонной кельею моей,
И ты взошла и тихо села
В слияньи мрака и лучей.

Головки русой очерк нежный
В тени скрывался, а чело,
Святыня думы безмятежной,
Белело чисто и светло.

Уста с улыбкою спокойной,
Глаза с лазурной их красой,
Все чудным миром, мыслью стройной,
В тебе сияло предо мной.

Кругом — глубокое молчанье.
Казалось, это дивный сон,
И я глядел, стаив дыханье,
Боясь, чтоб не скрылся он.

Ушла ты, — солнце закатилось,
Померкла хладная земля;
Но в ней глубоко затаилась
От солнца жаркая струя.

Ушла, — но, боже, как звенели
Все струны пламенной души,

Какую песню в ней запели
Они в полуночной тиши!

Как вдруг, и молодо, и живо,
Вскипели силы прежних лет,
И как вздрогнул нетерпеливо,
Как вспрянул дремлющий поэт!

Как чистым пламенем искусства
Его зажглася голова,
Как сны, надежды, мысли, чувства
Слилися в звучные слова!

О верь мне, сердце не обманет:
Светло звезда моя взошла,
И снова яркий луч проглянет
На лавры гордого чела.

1836

К ДЕТЯМ

Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас;
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь вседержителя бога.

Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней
Для вас, беззаботных и милых детей,
Как сладко, как радостно было!

Теперь прихожу я: везде темнота,
Нет в комнате жизни, кроватка пуста,
В лампаде погас пред иконою свет...
Мне грустно, малюток моих уже нет!
И сердце так больно сожмется!

О дети, в глубокий полуночный час
Молитесь о том, кто молился о вас.
О том, кто любил вас крестом знаменать;
Молитесь, да будет и с ним благодать,
Любовь вседержителя бога.

1838

«Гордись! — тебе льстецы сказали: —
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом:
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озера...»
Не верь, не слушай, не гордись!
Пусть рек твоих глубоки волны,
Как волны синие морей,
И недра гор алмазов полны,
И хлебом пышен тук степей,
Пусть пред твоим державным блеском
Народы робко клонят взор,
И семь морей немолчным плеском
Тебе поют хвалебный хор;
Пусть далеко грозы кровавой
Твои перуны пронеслись:
Всей этой силой, этой славой
Всем этим прахом не гордись.
Грозней тебя был Рим великий,
Царь седмихолмного хребта,
Железных сил и воли дикой

Осуществленная мечта;
И нестерпим был огнь булата
В руках алтайских дикарей, —
И вся зарылась в груды злата
Царица западных морей.
И что же Рим? и где монголы?
И, скрыв в груди предсмертный стон,
Кует бессильные крамолы,
Дрожа над бездной, Альбион.
Бесплоден всякий дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка;
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука...
И вот, за то, что ты смиренна,
Что в чувствах детской простоты,
В молчаньи сердца, сокровенна,
Закон творца прияла ты,
Он дал тебе свое призванье,
Тебе он светлый дал удел —
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду, и бескровный суд.
Твое все то, чем дух святится,
В чем сердцу слышен глас небес,
В чем жизнь грядущих дней таится,
Начало славы и чудес...
О, вспомни свой удел высокой,
Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни запроси!

Внимай ему и, все народы
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей:
И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный —
Прозрачный вышнего покров!
1830

ВИДЕНИЕ

Как темнота широко воцарилась!
Как замер шум денного бытия!
Как сладостно дремотою забылась
Прекрасная, любимая моя!
Весь мир лежит в торжественном покое,
Увитый сном и дивной тишиной;
И хоры звезд, как празднество ночное,
Свои пути свершают над землей.

Что пронеслось как вешнее дыханье?
Что надо мной так быстро протекло?
И что за звук, как арфы содроганье,
Как лебедя звенящее крыло?
Вдруг свет блеснул, полнеба распахнулось;
Я задрожал безмолвный, чуть дыша...
О, перед кем ты, сердце, встрепенулось?
Кого ты ждешь? — скажи, моя душа!

Ты здесь, ты здесь, владыка песнопений,
Прекрасный царь моей младой мечты!
Небесный друг, мой благодатный гений,
Опять, опять ко мне явился ты!
Все та ж весна ланиты оживленной,
И тот же блеск твоих эфирных крыл,

И те ж уста, с улыбкой вдохновенной;
Все тот же ты: но ты не то, что был.

Ты долго жил в лазурном том просторе
И на челе остался луч небес;
И целый мир в твоем глубоком взоре,
Мир ясных дум и творческих чудес.
Прекраснее, и глубже, и звучнее
Твоих речей певучая волна;
И крепкий стан подъемлется смелее,
И звонких крыл грознее ширина.

Перед тобой с волненьем тайным страха
Сливается волненье любви.
Склонись ко мне; возьми меня из праха,
Попрежнему мечты благослови!
Попрежнему эфирным дуновеньем,
Небесный брат, коснись главы моей;
Всю грудь мою наполни вдохновеньем;
Земную мглу от глаз моих отвей.

И полный сил, торжественный и мирный,
Я восстаю над бездной бытия...
Проснись, тимпан! проснися, голос лирный!
В моей душе проснися, песнь моя!
Внемлите мне, вы, страждущие люди;
Вы, сильные, склоните робкий слух;
Вы, мертвые и каменные груди,
Услыша песнь, примите жизни дух!

1841]

Вчерашняя ночь была так светла,
Вчерашняя ночь все звезды зажгла
Так ясно,

Что, глядя на холмы и дремлющий лес,
На воды, блестящие блеском небес,
Я думал: о! жить в этом мире чудес
Прекрасно!

Прекрасны и волны и даль степей,
Прекрасна в одежде зеленых ветвей
Дубрава,

Прекрасна любовь с вечно свежим венком,
И дружба звезды с неизменным лучом,
И песен восторг с озаренным челом,
И слава!

Взглянул я на небо — там твердь ясна:
Высоко, высоко восходит она
Над бездной;

Там звезды живые катятся в огне,
И детское чувство проснулось во мне;
И думал я: лучше нам в той вышине
Надзвездной!

[1841]

Сумрак вечерний тихо взошел,
Месяц двурогий звезды повел
В лазурном просторе.
Время покоя, любви, тишины,
Воздух и небо сиянья полны,
Смолкло роптанье разгульной волны,
Сравнялося море.

Сердцу отрадно, берег далек;
Как очарован, спит мой челнок,
Упали ветрила.
Небо как море лежит надо мной,
Море как небо блестит синевой,
В бездне небесной и бездне морской
Все те же светила.

О, чтобы в душу вошла тишина,
О, чтобы реже смущалась она
Земными мечтами.
Лучше, чем в лоне лазурных морей,
Полное тайны и полно лучей,
Вечное небо гляделось бы в ней
Со всеми звездами!

[1841]

ДАВИД

Певец, пастух на подвиг ратный
Не брал ни тяжкого меча,
Ни стрел, ни палицы булатной,
Ни лат с Саулова плеча;
Но духом божьим осененный,
Он в поле брал кремень простой —
И падал враг иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула ей окова,
Ей царский тягостен шелом;
Ее оружье — божье слово;
А божье слово — божий гром.

[1844]

К И. В. КИРЕЕВСКОМУ

Ты сказал нам: «За волною
Ваших мысленных морей
Есть земля; над той землею
Блещет дивной красотою
Новой мысли эмпирей».

Распусти ж свой парус белый —
Лебединое крыло —
И стремися в те пределы,
Где тебе, наш путник смелый,
Солнце новое взошло.

И с богатством многоценным
Возвратившись снова к нам,
Дай покой душам смятенным,
Крепость волям утомленным,
Пищу алчущим сердцам.

1848

НАВУХОДОНОСОР

Пойте, други, песнь победы.
Пойте! Снова потекут
Наши вольные беседы,
Закипит свободный труд!

Вавилона царь суровый
Был богат и был силен;
В неразрывные оковы
Заковал он наш Сион.

Он губил ожесточенно
Наши вечные права:
Слово — божий дар священный,
Разум — луч от божества.

Милость бога забывая,
Говорил он: все творят
Мой булат, моя десная,
Царский ум мой, царский взгляд!

Над равнинами Деира
Он создал себе кумир,
И у ног того кумира
Пировал безбожный пир.

Но отмстил ему Иегова!
Казнью жизнь ему сама:
Бродит нем губитель слова,
Траву щиплет враг ума.

Как работник подъяремный,
Бессловесный, глупый вол,
Не глядя на мир надземный,
Он обходит злачный дол...

Ты скажи нам, царь надменный,
Жив ли мстящий за Сион?..
Но покайся, но смиренно
Полюби его закон,

Дух свободы, святость слова,
Святость мысленных даров,
И простит тебя Иегова
От невидимых оков.

Снова на престол великий
Возведет тебя царем
И земной венец владыки
Освятит своим венцом.

Пойте, други, песнь победы!
Пойте! Снова потекут
Наши вольные беседы,
Закипит свободный труд!

1849

Жаль мне вас, людей бессонных!
Целый мир кругом храпит,
А от дум неугомонных
Ваш тревожный ум не спит.
Бродит, ищет, речь заводит
С тем, с другим: все пользы нет:
Тот глазами чуть поводит,
Тот сквозь сон кивнет ответ.
Вот оставив братьев спящих,
Вы ведете в тьме ночной,
Не смыкая вежд горящих,
Думу долгую с собой.
И надумались; и снова
Мысли бурно закипят;
Будите того, другого,
Все кивают, да молчат.
Вы волнуетесь, горите,
В сердце горечь, в слухе звон;
А кругом-то посмотрите,
Как отраден сладкий сон.
Жаль мне вас, людей бессонных.
Уж не лучше ль вам заснуть,
И от дум неугомонных,
Хоть на время, отдохнуть.

1853

РОССИИ

Тебя призвал на брань святую,
Тебя господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная!
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная —
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

Но помни: быть орудьем бога
Земным созданьям тяжело.
Своих рабов он судит строго:
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло.

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна;

О недостойная избранья,
Ты избрана!.. Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да грех двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью!
Держи стяг божий крепкой дланью!
Рази мечом! то божий меч!

1854

ПОКАЯВШЕЙСЯ РУСИ

Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой,
Не в буйстве смеха песни шумной,
Не с звоном чаши круговой;
Но в силе трезвенной смиренья
И обновленной чистоты
На подвиг грозного служенья
В кровавый бой предстанешь ты.

О, Русь моя! как муж разумный,
Сурово совесть допросив,
С душою светлой, многодумной,
Идет на божеский призыв,
Так, исцелив болезнь порока
Сознаньем, болью и стыдом,
Пред миром станешь ты высоко,
В сияньи новом и святом.

Иди! Тебя зовут народы;
И, совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы,
Дай мысли жизнь; дай мысли мир!
Иди! Светла твоя дорога.
В душе любовь, в деснице гром.
Грозна, прекрасна, ангел бога
С огнесверкающим челом!

1854

НОЧЬ

Ночь сошла с померкшей высоты,
В небе сумрак, над землею тени,
И под кровом тихой темноты
Ходит сонм обманчивых видений.

Ты вставай во мраке, спящий брат!
Освяти молитвой час полночи!
Божьи духи землю сторожат;
Звезды светят словно божьи очи.

Ты вставай во мраке, спящий брат!
Разорви ночных обманов сети!
В городах к заутрене звонят:
В церковь божью идут божьи дети.

Помолися о себе, о всех,
Для кого тяжка земная битва,
О рабах бессмысленных утех:
Верь, для всех нужна твоя молитва.

Ты вставай во мраке, спящий брат!
Пусть проснется дух твой пробужденный!
Так, как звезды на небе горят,
Как горит лампада пред иконой.

1854

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.

Если сердце заныло
Перед злобой людской
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные
Жалом в душу впились, —
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
Без труда, без усилья,
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской!

1859

Поле мертвыми костями
Все белелося кругом.
Ветер бил его крылами,
Солнце жгло его огнем.

Ты, пророк, могучим словом
Поле мертвое воздвиг;
И оделись плотью кости
И восстал собор велик.

Но не полно возрожденье,
Жизнь проснулась не сполна;
Всех оков земного тленья
Не осилила она;

И в соборе том великом
Ухо чуткое порой
Слышит под румяной плотью
Кости щелканье сухой.

О, чужие тайны зная,
Ты, пророк, спроси себя —
Не звенит ли кость сухая
В песнях, в жизни у тебя?

1859

Помнишь, по стезе нагорной
Шли мы летом: солнце жгло.
А полнеба тучей черной
С полуден заволокло.
По стезе песок горючий
Ноги спутников сжигал,
А из тучи вихрь могучий
Капли крупные срывал.

Быть громам, и быть ударам!
Быть сверканью в облаках,
И ручьям по крутоярам,
И потокам на лугах!
Быть грозе, но буря злая
Скоро силы истощит;
И сияя, золотая
Зорька в небе погорит.

И в объятья кроткой ночи
Передаст покой земли,
Чтобы зорко звездны очи
Сон усталый стерегли;
Чтоб с востока, утром рано,
Загораясь в небесах,
Свет румяный грел поляны
Все в росинках и цветах.

И теперь с полудня темной
Тучей кроет небеса;
И за тишью вероломной
Притаилася гроза.
Гул растет, как в спящем море
Перед бурей роковой;
Вскоре, вскоре в бранном споре
Закипит весь мир земной.

Чтоб страданьями — свободы
Покупалась благодать;
Чтоб готовились народы
Зову истины внимать;
Чтобы глас ее пророка
Мог проникнуть в дух людей,
Как глубоко луч с востока
Греет влажный тук полей!
1859

СПИ

Днем наигравшись, натешившись, к ночи
забылся ты сном;
Спишь, улыбаясь, малютка: весеннего утра
лучом
Жизнь молодая, играя, блестит в сновиденьи
твоем.
Спи!

Труженик, в горести, в радости, путь ты
свершаешь земной;
Утром отмеренный, к вечеру кончен твой
подвиг дневной,
Что-нибудь начато, что-нибудь сделано;
куплен твой отдых ночной.
Спи!

С светлым лицом засыпаешь ты, старец,
трудом утомлен.
Видно, как в ночь погружается жизни
твоей небосклон:
Дня замогильного первым сияньем уж твой
озаряется сон.
Спи!

1859

НОВГРАД

Средь опустенья и развалин
Над быстрой волховской струей
Лежит он мрачен и печален,
К земле приникнув головой.
Обнажены власы седые;
Совлечены с могучих плеч
Доспехи грозные стальные
И сокрушен булатный меч;
Широкий щит, разбитый в брани,
Вдали лежит среди полей,
И на бросавшей молньи длани
Гремит бесславие цепей.
Тебя ли зрю, любимец славы?
Веков минувших мощный сын,
Племен властитель величавый
России древний исполин?
Ах, не таков в минувши годы
Являлся ты своим врагам.
Когда покорные народы
Носили дань к твоим стопам;
Тогда величествен и страшен
Ты средь толпы сынов стоял,
И твой венец из мшистых башен
Чело свободное венчал.


ПРИМЕЧАНИЯ

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

Стихотворения Д. В. Веневитинова печатаются по посмертному изданию 1829 г., дополненному и исправленному последующими публикациями.

Настоящее издание дает избранные стихотворения Веневитинова. Однако, при сравнительно небольшом поэтическом наследстве поэта, это «избранное» собрание немногим отличается от полного. Невключенными оказались только ранняя поэма «Освобождение скальда», некоторые малозначительные переводы и ряд стихотворений, приписываемых Веневитинову.

Текст стихотворений, где было возможно, освобожден от цензурных искажений. Датировки стихотворений заново пересмотрены и в целом ряде случаев исправлены и уточнены.

К сожалению, размеры примечаний не позволяют останавливаться на мотивировках введенных исправлений.

Даты, установленные редактором, указаны под текстом стихотворений.

Веточка. Перевод стихотворения французского поэта Жан-Батиста-Луи

Грессе (1709—1777). Последние четыре стиха принадлежат самому Веневитинову. Стихотворение Грессе было весьма популярно в русской поэзии 1810-х годов и еще до Веневитинова было переведено В. Л. Пушкиным и Д. В. Давыдовым.

Два отрывка из неконченной поэмы. Сюжетом поэмы является гибель рязанских князей, принявших на себя полчища Батыя в 1237 г. и не поддержанных другими удельными князьями. Сюжет заимствован из «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина (т. III, изд. 1816 г., стр. 271—274). Описанные в начале поэмы небесные знамения относятся к появлению кометы незадолго до татарского нашествия.

К [Ф. Я.] Скарятину (при посылке ему водевиля). *Скарятин Федор Яковлевич* (1806—1835) — близкий друг Д. В. Веневитинова. В 1825 г. он был фанен-юнкером Нарвского драгунского полка (см. стих «Твои товарищи, драгуны удалые»). Ф. Я. Скарятин был любителем-художником, основавшим в 1832 г. в Москве натурный класс, из которого в 1843 г. образовалось Московское училище живописи и ваяния. Возможно, что в послании идет речь о русском водевиле Веневитинова, отрывки из которого сохранились (см. «Солнце России», 1913, № 26/177, стр. 16—17, неисправно перепечатанное в Собр. соч. Веневитинова,

изд. Academia, 1934, стр. 197—198). *Пиэриды* (миф.)— музы. *Беллона* (миф.)— богиня войны у римлян.

Смерть Байрона. Отрывки имеют в виду участие великого английского поэта в борьбе Греции за свою независимость. Байрон умер 23 апреля 1824 г. в Миссолонги от лихорадки. Смерть его потрясла весь мир и была воспета множеством выдающихся поэтов всех народов. В России его смерть воспел Пушкин. *Эвр* (миф.) — юго-восточный ветер.

Любимый цвет. Относится к сестре поэта С. В. Веневитиновой, впоследствии Комаровской (1808—1876). Поздравительное стихотворение ко дню рождения.

К. И. Герке. *Герке Кристиан Иванович* — бывший воспитатель Веневитиновых, долго сохранявший связь с их домом. *Вернер Захария* (1768 - 1823) — немецкий поэт и драматург романтического направления.

К друзьям на новый год. В 1826 г. осуществился переезд многих любомудров в Петербург: В. Ф. Одоевского, А. И. Кошелева, Ал. С. Норова, В. П. Титова и, наконец, самого Веневитинова.

Элегия. Относится к кн. З. А. Волконской (1792—1862).

К Пушкину. Написано, повидимому, в сентябре-октябре 1826 г. в Москве, в

период оживленных сношений с Пушкиным, вернувшимся из ссылки и сблизившимся с кружком любомудров. Любомудры в это время работали над подготовкой альманаха «Гермес», для которого переводили драматические произведения Гете. В конце октября Веневитинов уехал в Петербург и больше с Пушкиным не встречался. К этому периоду усиленных переводов из Гете, являвшегося для любомудров одним из властителей дум, естественно отнести и послание к Пушкину, обращающее внимание поэта на его поэтический долг: воспев Байрона («Пророк свободы смелый») и Андре Шенье («У муз похищенного Галла»), Пушкин должен еще воспеть Гете («Наставник наш, наставник твой»). Пушкин, еще до встречи с Веневитиновым написавший сцену из Фауста (1825), воспользовавшись персонажами гетевского произведения, повидимому, никак не откликнулся на послание Веневитинова.

Монолог Фауста. Перевод из первой части «Фауста» Гете.

Жизнь. Написано на тему слов Шекспира в трагедии «Король Иоанн» (акт 3-й). «Life is as tedious as a twice-told tale» (Жизнь скучна как дважды рассказанная сказка).

Кинжал. Было запрещено цензурой. Впервые опубликовано в 1913 г. По своему

содержанию может быть связано с любовью поэта к кн. З. А. Волконской.

Новгород. Стихотворение ярко отразило политические симпатии Веневитинова. Новгород для Веневитинова — символ цветущей республики, мужественно боровшейся с самодержавной властью московских князей и погибшей в неравной борьбе. Стихотворение, представленное в цензуру в сильно смягченной редакции, было тем не менее запрещено, что на два года задержало выход посмертного издания стихотворений поэта. Лишь после отставки министра народного просвещения А. С. Шишкова друзьям Веневитинова удалось добиться разрешения на опубликование «Новгорода».

К изображению Урании. Написано на нотной книге В. Ф. Одоевского в качестве надписи к рисунку Ф. Н. Скарятина, изобразившего «богиню с пятью звездами». *Урания* (миф.) — муза астрономии.

Четверостишие. *Дмитриев Иван Иванович* (1760—1837) — известный поэт, славился, главным образом, своими песнями и баснями; именно к последним и относится эпиграмма Д. Веневитинова, вызванная недоброжелательным отношением старого поэта к кружку «Московского Вестника».

К любителю музыки. В последних стихах отразилось влияние оды Шиллера

«Гимн радости», на слова которой, как известно, написан знаменитый хор Бетховенской девятой симфонии (ор. 125, 1823 г.). Веневитинов глубоко любил Бетховена и внимательно изучал его произведения.

К моему перстню. Обращено к перстню, вывезенному кн. З. А. Волконской из Геркуланума и подаренному поэту перед его отъездом в Петербург. Веневитинов носил его на часах, называл своим талисманом и говорил, что наденет его или на свадьбу, или перед смертью. В 1930 г. при сносе Симонова монастыря и перенесении останков Д. В. Веневитинова на кладбище б. Новодевичьего монастыря, перстень был извлечен из гроба Веневитинова и ныне хранится в Библиотеке им. Ленина в Москве.

Последние стихи. Судя по заглавию, принадлежащему редакторам посмертного издания, это — последнее стихотворение Веневитинова, умершего 15 марта 1827 года.

С. П. ШЕВЫРЕВ

Стихотворения С. П. Шевырева, разбросанные по журналам, альманахам и газетам 20-60 х годов, никогда не издавались отдельным собранием. Первое издание избранных его стихотворений, включающее свыше 10 тысяч стихов, печатается в настоящее время издательством «Советский

писатель» — в большой серии «Библиотеки поэта» под моей редакцией.

Созданный для этого издания на основании журнальных публикаций и рукописных фондов основной текст стихотворений Шевырева повторен и в настоящем издании, для которого отобраны сорок пять наиболее ценных в историко-литературном и эстетическом отношении стихотворений.

Даты написания стихотворений — авторские и установленные редактором — указаны в тексте.

Я есмь. Стихотворение обратило на себя внимание Баратынского и Пушкина, поощрявших восемнадцатилетнего Шевырева.

Четыре новоселья. Посвящено И. В. Киреевскому (1806—1856), другу Шевырева, в то время начинающему критику-любомудру, позднее ставшему одним из основоположников русского славянофильства.

Мысль. Стихотворение, посвященное теме бессмертия мысли, вызвало жестокие нападки Ф. Булгарина, задетого Шевыревым в его «Обозрении русской словесности за 1827 г.», и высокую оценку Пушкина, назвавшего его «одним из замечательнейших стихотворений текущей словесности». *Рамена* (церк.-слав.) — плечи. *Ливан* — горное плато в Сирии, вдоль северо-западной границы древней Палестины.

Партизанке классицизма. Обращено к гр. А. И. Лаваль (1811—1886), позднее гр. Коссаковской, заметившей, что Шевырев в своих стихах любит воспевать кровь и раны. В своем стихотворении Шевырев выступает в защиту своих «стихов кровопролитных», становясь на позиции немецкого романтизма и воспринятого сквозь его призму Шекспира. *Банко* и *Гамлет* — персонажи шекспировских трагедий «Макбет» и «Гамлет, принц Датский». *Омир* — Гомер. *Аттика*, аттическая долина — область Греции; здесь — синоним классического мира.

К непригожей матери. Стихотворение обращено к России (непригожая мать) и, сопоставляя ее с Италией («красавицей, давно известной»), ярко отражает ранние славянофильские чаяния об особой исторической миссии России.

Петроград. Стихотворение было прочитано в Обществе любителей российской словесности и имело там успех.

К[нягине] З. А. В[олконск]ой. Поздравительное стихотворение ко дню рождения кн. Волконской, которая в 1829 г. навсегда покинула Россию и поселилась в Риме. Шевырев провел в ее доме около четырех лет (1829—1832) в качестве воспитателя ее сына.

Храм Пестума. Храм, о котором идет речь, был посвящен богу морской

стихии Нептуну, изображавшемуся с трезубцем. Отсюда—«жезл Нептуна». *Зевс* — бог грома.

Стансы Риму. Точки, замещающие два стиха второй строфы, являются цензурной купюрой, ныне не восстановимой.

Две реки. Стихотворение является памятником неудачного романа Шевырева с его двоюродной сестрой Наталией Степановной Топорниной (впоследствии Митраковой). Близкое родство по законам церкви было препятствием к браку Шевырева.

Послание к А. С. Пушкину. *Анжело* — Микель Анджело Буонаротти (1475—1564)—величайший итальянский художник и скульптор. *История Русского народа* — произведение Н. А. Полевого, полемизировавшего с Карамзиным. Резко отрицательное отношение Шевырева к Полевому как историку основывалось главным образом на разногласиях по вопросу о русском феодализме — вопросу, на котором в то время происходило формирование западнической и славянофильской идеологии. *Иль чтоб ругал заезжий иностранец, какой-нибудь писатель самозванец* — имеется в виду Ф. В. Булгарин (1789 - 1859), рептильный журналист и беллетрист 20—30-х годов, по происхождению поляк, в молодости служивший во французской армии, потом переехавший в Россию и заняв-

шийся литературой. Стихи *Тянули из его расслабших недр зазубренный спондеем гекзаметр,* которые Шевырев в подстрочном примечании не относит ни к Жуковскому, ни к Гнедичу, относятся к А. Ф. Воейкову, обосновывавшему наличие в русском языке спондеев. Стих *Да призови в сотрудники поэта* и следующий имеют в виду Языкова Николая Михайловича (1803–1846), видного поэта 20—30-х годов, близкого славянофильским кругам.

[Пушкину]. В печати появилось под заглавием «Сравнение», принадлежащим, повидимому, А. А. Дельвигу. Эпиграмма является резким выпадом против «прозрачного» и «чистого» гармонического стиха Пушкина.

Ода Горация последняя. Стихотворение не является переводом из Горация; это—совершенно оригинальное произведение Шевырева.

Русский соловей в Риме. Записано в альбом Марии Александровны Власовой, сестры кн. З. А. Волконской, жившей в Риме вместе с нею.

Камень Данта. Вторая строфа имеет в виду гр. Терезу Гвиччиоли, любовницу Байрона, воспетую им в «Сарданапале». В. Д. П., в альбом которой записано стихотворение, нам неизвестна.

Эпиграмма-октава. Эпиграмма относится к самому Шевыреву, пытавшемуся в своем «Рассуждении о возможности ввести октаву в русское стихосложение» и переводом в октавах 7-й песни «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо преобразовать принятую в русской поэзии силлабо-тоническую просодию, своей музыкальностью и монотонностью тормозившую, с точки зрения Шевырева, развитие поэзии мысли. Он вводил ритмические перебои, допускал возможность элизий, ввел в октавах свободную рифмовку и т. д. Все эти просодические новшества отразились в двух последних стихах эпиграммы, являющихся заключительными стихами 7-й песни «Освобожденного Иерусалима» в переводе Шевырева.

На смерть поэта. Стихотворение относится к гибели М. Ю. Лермонтова (15 июля 1841 г.), убитого на дуэли Н. С. Мартыновым.

К Италии. Стихотворение относится к итальянской войне за независимость 1859 года.

Отклик. Относится к «крестьянской реформе» 1861 года.

А. С. ХОМЯКОВ

Настоящее издание является собранием избранных стихотворений Хомякова. Ранний Хомяков, Хомяков-любомудр, предста-

влен сравнительно полно. Опущены лишь его переводы и подражания из античных поэтов, его ранние стихотворные опыты, имеющие почти исключительно подражательный характер, да некоторые шуточные пьесы и политические стихотворения, малохарактерные для его поэтической практики этих лет. Из стихотворений позднейшего — славянофильского — периода помещены лишь те, которые замечательны вызванным ими общественным резонансом, или представляют известный интерес в качестве образцов одного из ответвлений «обличительной» лирики той эпохи.

За основу, в большинстве случаев, взят текст прижизненных публикаций.

Расположение материала — хронологическое.

Даты написания стихотворений указаны в тексте и принадлежат редактору; в тех же случаях, когда время написания неизвестно, в скобках указана дата напечатания.

В альбом. Высказывалось предположение, что стихотворение обращено к сестре поэта Анне Степановне Хомяковой.

К В. К. Связано, как и предыдущее стихотворение, со смертью двоюродного брата Хомякова, Василия Степановича Киреевского.

Отзыв одной даме. Предположительно относится к кн. З. А. Волконской, хозяйке известного московского светско-

артистического салона, частым гостем которого был Хомяков.

Сонет. В первопечатном тексте снабжено примечанием, принадлежащим, по-видимому, самому поэту: «В Адрианополе, в Ески-Сарае, в комнате, где бьет фонтан, есть надпись: Ильнио би гюзарет — все пройдет».

Прощание с Адрианополем. В первопечатном тексте снабжено примечанием: «Эдырне — турецкое имя Адрианополя». Адрианополь являлся крайним пунктом наступательного движения русской армии в русско-турецкую войну 1828—1829 гг. Согласно мирному договору, подлежал возвращению Турции. *Луна* — символ мусульманства.

На кусок янтаря (Из Саади). *Саади* — один из величайших персидских поэтов, живший в XIII веке. Стихотворение — не буквальный перевод, а вольное подражание.

Признание. Первое четверостишие — автоцитата из юношеской поэмы Хомякова «Вадим».

Зима. Третья строфа связана с фактами биографии Хомякова: его поездкой за границу, участием в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. В заключительных стихах речь идет о Д. В. Веневитинове.

Изола Белла. *Изола Белла* — остров на Лаго Маджиоре, озере в северной Италии, которое Хомяков мог посетить во время заграничной поездки в 1825—1826 гг.

Иностранка. Обращено к А. О. Смирновой-Россет (1810—1882), известной своими широкими связями и знакомствами в литературных кругах. К ней же обращены два следующих стихотворения и, возможно, стихотворение К *** («Не горюй по вешним розам»).

«Здесь, где гранитная пустыня». Стихотворение — запись в альбоме С. П. Карамзиной, дочери историка, фрейлине императорского двора, хозяйке известного петербургского литературного аристократического салона. Перевод эпиграфов: «Быть в Петербурге с душой и сердцем в одиночестве» (Одинокое путешествие); «И я видел город, где все было каменное: дома, деревья и жители» (Путешествие Абдул-Фареда Странника).

К ***. Обращено, как и следующее стихотворение, к З. Н. Полтавцевой.

К детям. Посвящено памяти детей Хомякова — Степана и Федора, умерших почти одновременно в 1838 г.

«Гордись! — тебе льстецы сказали». Одно из первых стихотворений Хомякова, получивших широкое распро-

странение до появления в печати, в списках. *Алтайские дикари* — монгольские племена, объединившиеся в XIII веке под властью Чингис-Хана, основателя грандиозной военно-феодальной империи, на востоке простиравшейся до Тихого океана, на западе включавшей в себя Польшу и Венгрию. *Альбион* — Англия.

Давид. В основе стихотворения лежит библейская легенда о царе-псалмопевце Давиде, который вышел на единоборство с вождем враждебного племени филистимлян Голиафом, вооруженный одной пращой, и победил его. Существуют указания, что стихотворение обращено против московского митрополита Филарета. Позднее часто использовалось славянофильской публицистикой как агитационное произведение, направленное в защиту свободы слова.

К И. В. Киреевскому. *И. В. Киреевский* (1806—1856) — один из вождей славянофильства, ближайший друг Хомякова.

Навуходоносор. Построено на библейской легенде о вавилонском царе Навуходоносоре, которого, в наказание за безбожие, бог лишил ума, превратив в животное. Легенда эта использована Хомяковым для агитации против правительственных цензурных репрессий после 1848 г.

России. Один из многочисленных поэтических откликов на разрыв дипломатиче-

ских отношений с Францией и Англией, предшествовавший войне 1854—1856 гг.

За это стихотворение Хомякову угрожали серьезные административные репрессии. Он был вызван к московскому генерал-губернатору гр. Закревскому, с него была взята расписка, обязывавшая его не показывать никому своих стихотворений до разрешения их цензурой. Предполагалась даже его высылка из Москвы, от которой его спасло только вмешательство некоторых покровительствовавших ему представителей высших бюрократических кругов

«Помнишь, по стезе нагорной». Связано, повидимому, с австро-франко-итальянской войной 1859 г., к которой славянофилы относились с большим интересом. Интерес этот основывается на том, что, вступая в войну, французские правительственные круги рассчитывали на активизацию национально-автономистского движения среди населявших Австрию славянских народностей и предполагали, под видом «помощи» последним, вовлечь в войну и Россию. Расчеты эти, впрочем, не оправдались, и заключенный вскоре мир не принес ничего нового в области «славянского вопроса».

Новград. Идейно и тематически примыкает к декабристской лирике, в которой мотив новгородской «вольности»,

уничтоженной московским самодержавием, является одним из самых распространенных. В этом смысле стихотворение занимает несколько обособленное место в поэтической практике Хомякова. Авторство Хомякова, вызывавшее сомнения, в настоящее время удостоверено автографом.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

В 1829—1831 гг. вышло двухтомное собрание сочинений Веневитинова, изданное его родными и друзьями (главным образом А. В. Веневитиновым и Н. М. Рожалиным). По своей тщательности, отсутствию опечаток, датировке ранних стихотворений Веневитинова (1821—1825), издание это не утратило своего значения и до сих пор. Конечно, это издание очень неполно.

В 1862 г. вышло однотомное собрание сочинений Веневитинова, под редакцией А. П. Пятковского. Тексты этого издания, кроме нескольких случаев, воспроизводят текст посмертного издания, датировка же стихотворений изменена, иногда явно ошибочно. К изданию приложена подробная биография поэта, использовавшая ряд устных сообщений современников. И это издание не отличается полнотой.

В 1934 г. вышло полное собрание сочинений Веневитинова, под редакцией Б. В. Смиренского, с приложением свода биографических данных, библиографии и со вступительной статьей Д. Д. Благого. В отношении текста издание это неудовлетворительно: в погоне за полнотой, оно включает и произведения, не принадлежащие Веневитинову. Издание ценно лишь собранием писем поэта, в значительной мере впервые опубликованных (однако и тут встречаются ошибки в датировках писем), а также подробной (но не вполне полной) библиографией Веневитинова. Поправки и дополнения к этому изданию см. в статье М. Аронсона «Разговор через голову редактора» («Звезда», 1934, № 8, стр. 187—190).

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. С. ХОМЯКОВА

В восьмитомном собрании сочинений Хомякова («Сочинения А. С. Хомякова», тт. I—VIII, М., 1900—1904; отдельные тома несколько раз переиздавались) стихотворениям и стихотворным драмам посвящен том IV.

Собрание стихотворений Хомякова, в которое включено большое количество до сих пор не издававшихся текстов, подготовлено в настоящее время в серии «Библиотека поэта» изд-ва «Советский писа-

тель», под редакцией, с примечаниями и вступительной статьей И. Сергиевского.

Наиболее содержательная биография Хомякова принадлежит А. Ловягину; напечатана в «Русском биографическом словаре», том «Фабер — Цявловский», СПб., 1901.

Работ, посвященных общественной и поэтической деятельности Хомякова, сколько-нибудь удовлетворяющих современным научным требованиям, не имеется.

СОДЕРЖАНИЕ [1]

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

(Редакция текстов и примечания М. Аронсона)

1 Первая цифра обозначает страницу текста вторая (курсивом) — страницу примечания.

С. П. ШЕВЫРЕВ

(Редакция текстов и примечаний М. Аронсона)

А. С. ХОМЯКОВ

(Редакция текстов и примечания
И. Сергиевского)

Примечания

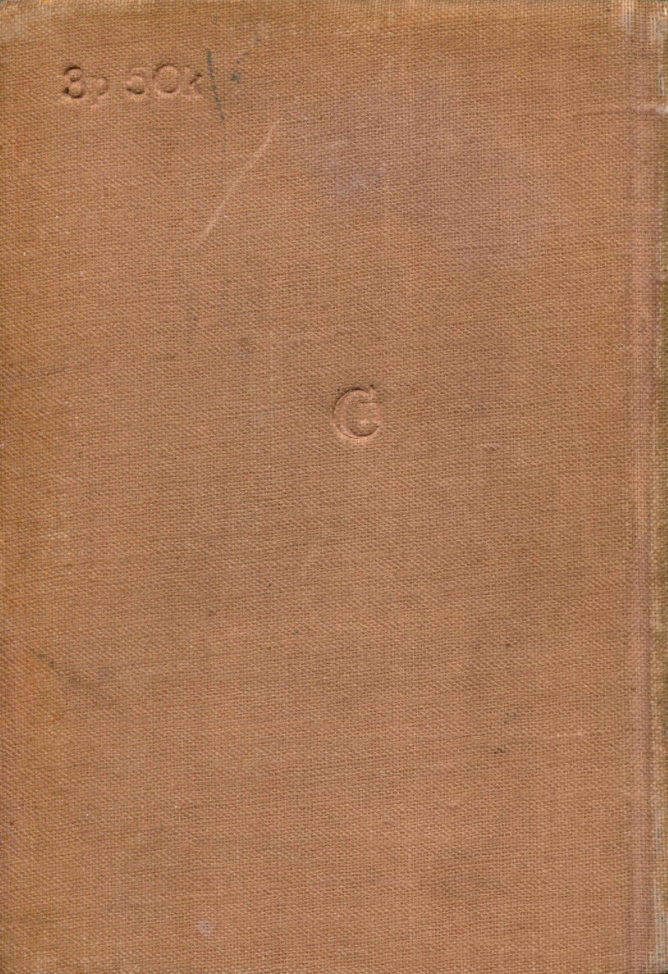
Ответствен. редактор Г. Гуковский.
Техническ. редактор А. Бирнарская.
Корректор Р. Бекетова Художник
В. Двораковский Ленгорлит № 3138.
С. II. 65/Л Сдано в набор 15-IV 1937 г.
Подписано к печати 1/VI 1937. Тираж 10200. Уч.-авт. л. 10,7. Бум. л.
2 1/2. Тип. зн. в 1 бум. л. 119000. Форм.
бум. 72/108/64. Заказ № 2660. Отпечатано в тип. „Советский Печатник",
Ленинград, Моховая, 40.
1937 г.

Цена 2 р. 50 к. Переплет 1 р.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
23	2 сверху	процветь	процвесть
54	1 „	вижу	Я вижу
132	1 снизу	828	1828
158	1 сверху	К (Княгине)	К (нягине)
183	1 снизу	830	1830
187	4 „	идущие	ищущие
207	9 сверху	революцион-ной,	революцион-ной, а
269	11 снизу	Люб и	Любви

Веневитинов


3р 50к
G